



Мария Васильевна Семенова Пелко и волки (сборник)

Издательский текст
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=178103
Пелко и волки: Азбука-классика; СПб.; 2006
ISBN 5-352-01414-2

Аннотация

Мария Семенова – автор знаменитого романа «Волкодав», – всегда пишет о сильных людях. В неравном бою, когда смерть дышит в лицо, а вероломный враг силен и беспощаден, в темнице, на стене пылающего города – везде ее герои до конца стоят за правду и честь.

Эта книга о чести и благородстве. И не важно, кто ты – бесстрашный и лютый Ратша из дружины ладожского князя Рюрика или плененный в смертном бою корел Пелко, – каждому выпадает своя доля, и только легкого счастья не дают никому скупые боги. Звенят мечи, льется кровь, и такая ярость обжигает сердце, что и во сне, и наяву видит Пелко смерть безжалостного Ратши. Но приходит час и спасает Пелко беспомощного врага, потому что не для вечной злобы пришел на землю человек. И потому эта книга о любви. Той неодолимой любви, во имя которой Неждан Военежич из повести «Ведун» встает один против многих и остается несокрушим. Потому что без любви на этой земле не прожить.

Содержание

Пелко и волки	4
ГЛАВА ПЕРВАЯ	4
1	6
2	9
3	11
4	13
5	15
6	17
7	20
ГЛАВА ВТОРАЯ	24
1	25
2	27
3	28
4	30
5	33
6	36
7	39
ГЛАВА ТРЕТЬЯ	42
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Мария Семенова

Пелко и волки (Сборник)

Пелко и волки

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Это – не женский плач.

Это – плач бородатого героя...

Корельская руна



Светлая летняя ночь понемногу превращалась в утро. Сперва между деревьями закружился туман. Густая белая борода напозала с болота, нащупывая дорогу, медленно обтекая шершавые вековые стволы, и дочь тумана, дева Терхенетар, неслышно ступала между дере-

вьями, расчесывая отцовскую седину частым узорчатым гребешком. Холодной влагой веяло от той бороды и ещё чем-то древним, прадедовским, знакомым – и одновременно жутким от невысказанной давности, чужим! Потом в лес заглянуло юное солнце, и тайная сумрачная сила ушла из тумана неведомо куда.

Теперь медведь лежал совсем неподвижно, и на обломанном древке рогатины оседали капельки влаги. Как же долго он рвал когтями зелёный мох, силясь добраться до врага, достать его хрипящей оскаленной пастью, могучими лапами!.. Так и не смог. Ярость вместе с жизнью погасла в его маленьких глазках, и опавшие сосновые иглы перестали трепетать возле ноздрей. Разгорится солнечный день, и тяжёлые синие мухи слетятся на остывающую тушу, на загустевшую кровь.

Человек сидел под неохватной сосной совсем рядом с медведем, там, куда отбросил его удар, и загнутые когти зверя почти касались мягких сапог. Беловолосая голова человека свешивалась на грудь, кожаная охотничья куртка с правой стороны почернела от крови. Он не шевелился. Не далее чем к вечеру он тоже перестанет дышать, и окажется этот первый в его жизни медведь ещё и самым последним. Лесные хозяева лишь сводят вместе охотника и добычу. Кому достанется победа, это уж решается один на один. Избрав соперника не по силам, вини только себя.

...Что же ты, Отсо, яблочко лесное, рассердился так на верного друга! Или перепутал сослепу в сырой ночной темноте, кинулся на угостившего медом, не признал сладко обмазавшего для тебя древесные стволы? Или просто хотел слишком крепко обнять его – и напорлся нечаянно на острую рогатину, укололся о стальной нож?.. Ком красивый, живущий в чаще лесов! Кто же теперь проведет тебя, гостя, из конца в конец по шумной деревне, кто попотчует тебя, лакомку, вкусной рыбой и пивом, кто поднесет берестяную мисочку с медом, кто вслух похвалит твоё целебное сало и драгоценный золотой мех?!

Человек не заметил, как на поляне, не потревожив густых цепких кустов, возник Одноглазый. Осторожная тень заскользила над влажной травой, и туман беззвучно расступался перед нею, плотно смыкаясь позади. Одноглазый неспешно обошёл поляну кругом, внимая запахам и следам. Потом приблизился к тем двоим и остановился над ними. Молчаливый зверь немногим уступал поверженному медведю – широкогрудый, высокий в загривке, на крепких и неутомимых ногах. Волк озирает поляну единственным глазом: второго он лишился давным-давно, в страшном лесном пожаре, когда падавшее дерево достало его кривым суком, пытаясь утащить с собой в смерть. С тех пор он носил на голове глубокий шрам, переходивший в подпалину. Впрочем, уши и нос служили ему по-прежнему верно, а для волка это важнее...

Ощетинясь, он обошёл медведя и убедился, что тот был действительно мертв. Потом подобрался к человеку, ещё продолжавшему тихонько дышать: извечный враг в своей беспомощности пробуждал в нём любопытство, но вовсе не страх. Одноглазый внимательно обнюхал его руки, всё ещё державшие нож, и жёсткая шерсть на загривке начала медленно опадать, потому что человек вдруг показался ему не чужим...

...Охотник вздрогнул от прикосновения к щеке, и какое-то время они с волком смотрели друг другу прямо в глаза. На языке зверей это всегда означает угрозу, но человек был слишком слаб, чтобы угрожать, и матерый это знал. Впрочем, охотник не боялся нападения, не боялся и смерти: его уже осенило последнее равнодушие, помогающее встретить неизбежный конец. И это тоже было понятно зверю.

Волк долго смотрел на человека, потом отвернулся и зевнул. Тяжелые клыки лязгнули.

– Здравствуй, Одноглазый... – сказал ему охотник, и зверь насторожил уши. Тихий молодой голос тоже был тот самый, памятный ему. Волк стал ждать, чтобы человек загово-

рил снова, но тот уже потратил все силы: беловолосая голова вновь поникла, глаза закрылись.

Одноглазый немного помедлил, потом поднялся и ещё раз обнюхал его руки. Повернулся – и молча растаял, исчез в лесу...

Когда охотник очнулся вновь, стоял уже день. Тумана не было и в помине, зато на поляне слышались человеческие голоса. Людей было много – все воины, снаряженные на рать: кто с мечом при бедре, кто с боевым топором на длинном топорище. Ладожане!.. Ни с кем их не спутаешь.

Двое разводили костёр, ещё двое – судя по их речам, оба меряне – уже перевернули медведя и сноровисто сдирали с него шкуру. Чьи-то руки подняли молодого охотника, перенесли в сторонку, бережно уложили. Возникло бородатое мужское лицо.

– Жив, малый?

На шее воина блестела дорогая золоченая гривна. Он повторил по-корельски:

– Жив, что ли, говорю?

Охотник попробовал ответить ему, но сумел только разлепить губы и застонать.

– Ладно, – проворчал воин. – Терпи уж.

Вынул нож и разрезал кожаную куртку корела. Тот закрыл глаза и услышал, как переговаривались свежавшие медведя.

– Им, ижорам, звериное слово ведомо, – сказал один. – Попросит, так и бирюк ему за помощью поскачет, что пес верный.

– То-то же, – с незлою насмешкой отозвался второй. – А ты ещё стрелять его хотел. Хорошо, боярин не позволил...

Первый сказал, помолчав:

– Волк-то волк, а у косолапого, видать, слово свое.

1

Было это в тот год, когда князь Рюрик свалил в бою отбежавшего от Ладоги князя Вадима и кружил белым соколом по широкой словенской земле, походя, с лету разбивая малые отряды, оставшиеся от разгрома несчастливой Вадимовой рати...

На березах уже появились первые желтые листья, когда погожим солнечным утром княжеские отроки-наворопники выследили, углядели на лесной поляне один такой отряд.

Князь-варяг, поседевший в сражениях и походах, медлить не стал – повёл всех своих людей прямо к поляне. Когда же подошли, велел трубить в боевой рог: сильному да храброму незачем нападать исподтишка. Пусть честный враг приготовится к битве, пусть вынет из ножен меч, застегнет на себе броню. Так больше славы его одолеть.

Рог прогудел, и люди на поляне вскочили от едва разложенных костров – даже еду сготовить не привелось. Но к тому времени, когда княжки показались из леса, они уже успели выстроиться в круг, угрюмо ошетиниться копьями, заслониться длинными щитами... Должно, опытный и уверенный муж уводил их в леса! Не столь многи числом, а голой рукою не возьмешь: надевай боевую рукавицу, иначе наколешься.

Рюрик, уважая храбрецов, сам подался вперёд на боевом коне. Трепетало над ним варяжское знамя – летящий кречет, как живой, простирает белоснежные крыла. Князь внимательно вглядывался: не видать ли кого знакомого из нарочитых ладожан, из старых Вадимовых бояр?.. Всё напрасно. Не углядеть под кольчугой вышитой сорочки, не признать под надвинутым шлемом дружеского лица... Стояли молча и грозно, ждали, что скажет.

На шаг вперёд всех подались непреклонные словенские удалцы: эти первыми подняли мечи за обиду своего князя Вадима, не потерпели чужеплеменника рядом с ним на ладож-

ском столе... Этих не сдвинешь ничем, а уворачиваться они непривычны – грудью примут смертный удар и ещё призадумаются: упасть или повременить! Всяк из них держал наготове широкое копьё и узорчатый меч, какой редко увидишь у простого ратника, оторванного немирём от пашни или ремесла... А за ними, за крепкими вязовыми щитами, приготовили натянутые луки отчаянные меряне. Вот у кого глаза отточены охотой до светлого блеска, не промахнутся, ловя малую щелочку меж пластинами брони, мелькнувшую открытую шею... Князь бесстрашно выехал к ним без шлема, зная: начнись вдруг стрельба, не пощадят.

Хорошее войско и храброе безмерно, жаль, числом больно невелико. И видно, что спаялось оно понемногу из всех полков, поднятых Вадимом на великую битву. Стояло даже четверо мореходов из Северных Стран, тех, кого беглый князь кликнул-таки на подмогу, не посягая на посулы и серебро... Их, воинов прирожденных, ни в каком сражении из виду не потеряешь. Князь Рюрик с молодых лет знал этот народ: уже начнут победители собирать пленных и стаскивать с убитых врагов оружие и порты, а четыре клепаных шлема с наглазниками ещё долго будут выситься посреди поля, и вокруг них схватка отбушует не скоро.

...Так никого и не высмотрел зоркий князь и, делать нечего, обратился сразу ко всем:

– Поздорову ли, вои?

Те отозвались нестройно, и он спросил:

– А что, люди, может, миром покончим?

Он чисто говорил по-словенски: речь варяжская словенской близка. А князь, на то он и князь, чтобы всякий слышал, когда говорит. И сперва было тихо, но потом кто-то крикнул с последней удалью презревшего смерть:

– Не знаем тебя!..

Дерзкого не остановили: звать, судьбы не обскачешь. Князь выждал ещё немного, потом повернул коня, бросил хмуро:

– Быть сече.

А быть сече – значит, не миновать поединка. Выйдут двое и первые попотчуют друга друга ратным вином, на мечах или так просто, оголившись по пояс и вооружась только силой собственных рук... Кто примет на себя страшную честь и положит требу Перуну, привлекая к своему вождю бранное счастье, или сам ляжет на опечаленную землю и уж не увидит ни поражения, ни победы?

Вот шелохнулись склоненные копыта Вадимовых людей, выпустили неробкого малого в кожаной, прошитой железными заклепками броне. Вышел, оглянулся, сказал что-то друзьям, те засмеялись. А не избирается на поединок первый, кто вздумает; такие у любого князя в дружине наперечет, возьмешься ломать – сам смотри не сломайся! Простые гридни что камни, поединщики – твердый кремь... Князь Рюрик повернулся в седле, поискал глазами среди своих и позвал:

– Ратша!

Ратша вышел на княжеский зов с той ленивой неспешностью, которая человека понимающего неизменно пугает больше всего. И то сказать – у храброго парня разом выбелило скулы, когда увидел, на кого напоролся. Ратша, скиталец приبلудный, трёх лет ещё не провёл у Рюрика в дружине и ни с кем вроде особо не ссорился, но славили его – хуже не выдумаешь. Звали в глаза Ратшей Ратшиничем, а за глаза – Ратшей-оборотнем. Кто первый дал ему это прозвание и за что, с собой принёс или уже в Ладоге наградили, люди не помнили. Поговаривали, что его мать была некогда отдана для ублажения лютого волка, тревожившего скот. Пусть, рассудили старейшины, зверюшка съедучий отпразднует свадьбу, утешится с красавицей женой и перестанет резать коров! Отведённая в лес и привязанная к дереву, пригожая девка как-то спаслась и потом родила сына: были у того сына зеленоватые неласковые глаза и волосы не тёмные, не светлые – цвета железа, волчьего цвета!

По-прежнему неспешно вышел он на середину поляны: широкоплечий, перехваченный по тусклой кольчуге серебряным поясом. Без шлема – на что, мол, уж будто без него не управлюсь! Остановился, и длинные пепельные усы шевельнулись в улыбке:

– Смерти ищешь?

А рука с мечом, пока что книзу опущенная, внятно добавила: ну так будет тебе смерть... Парень не дрогнул, не отступил перед ним, только сглотнул. Понимал, верно, что против Ратши не устоит, но срамиться не пожелал. И прошелестел над Вадимовыми людьми тихий, сквозь зубы, сдавленный стон. Жалели старые воины о молодом, жалел каждый, что не сам вышел вперёд.

– Ну бей, – сказал Ратша. – Если смелый такой... Тот ударил без промедления. Ратша поймал его меч, и усмешка пропала с лица, брови сошлись. Ратша-оборотень спокойно и молча делал дело, в котором ему здесь не было равных. То мастерство, при котором всё вершится вроде бы само... Раз за разом он ловил меч парня и со скрежетом отшвыривал прочь. И без большой натуги заставлял соперника униженно пятиться, понемногу поворачивая его лицом против яркого осеннего солнца. И когда тот заморгал, мучительно щурясь, меч Ратши наискось располосовал на нём плотную кожаную броню, разорвал парню горло. Молодой воин захлебнулся кровью и рухнул, не вскрикнув.

Следившие за поединком вздохнули, стали поправлять оружие, переговариваться. Мог бы Ратша не убивать храброго малого, ранил бы да оттащил в полон, вся-то недолга, а честь едва ли не большая... Но уж в этом никто ему не советчик. Сам превозмог, сам и волен: вязать или решить!

Потом князьки подняли мечи и тяжело пошли на тех, других, заслонившихся щитами посреди круглой поляны. Словене против словен, стрелки-меряне против мерян – и любой точно так же перешибет стрелой волосинку, снимет красную шишку с самой высокой елки в лесу. Другая половина Ладоги, давно уже порешившая: кто лучшая защита городу и Земле, тому ими и владеть!

Могли бы они просто закидать сгрудившихся стрелами, а и немного понадобилось бы стрел! Так сделали бы, застав разбойника на добыче, разбойнику уважения нет. Ныне враг иной, и честь ему иная...

А немногочисленные Вадимовы люди выстроились искусно: подходи первый, кто не боится! Тут-то Ратша-оборотень отличился опять. Разбежавшись, взвился в стремительном прыжке едва не выше голов! Только стрелы знай втыкались во вскинутый щит. Разом на два копыта принять его не успели, одно же, выставленное навстречу, он перерубил на лету. И пал коленями на грудь кому-то из оборонявшихся. Покатился с ним по земле... А следом, по нему, через него, уже врывались побратимы, рубили налево и направо, перенимали победу...

Ладожский князь смотрел на всё это из-под стяга, крепкой десницей смиряя рывшего землю коня. Не ему, вождю, помогать рубить обреченных. Отражалась в зрачках почерневшая поляна и отряд смельчаков, быстро таявший в неравном бою. Князь глядел сумрачно, не радуясь победе. А чему радоваться? Вот замирить бы их да вернуть в Ладогу, его, Рюрика, руку держать...

Когда всё кончилось, князь опять подозвал к себе Ратшу. Тот подъехал весёлый, на злом боевом жеребце: рассечённый подбородок в крови, левая рука, попорченная в битве, небрежно замотана... Рюрик сам надел ему на шею плетеную серебряную гривну:

– Все бы так удалы были, как ты! Я теперь дальше пойду, а тебе дело иное: ныне взятых назад в город сведешь...

Зимними глазами глянул на него Ратша.

– За что, княже, срамишь? А не так уж я и ранен, коли ты о ране моей больше меня скорбишь!

Седой князь расправил пальцем усы.

– Не наказание тебе, но честь! Ты, ведаю, с бережением доведешь, у тебя не разбегутся. Да проследишь там, чтобы поступили с ними по уговору. Ступай!

Пленники, десятка полтора израненных бойцов, молча стояли и сидели на вытопанной, обогрелой траве. Никто из них в бою не просил о пощаде, им подарили её непрошено, за мужество в награду. Немного попозже всем позволят умыться и перевяжут, потому что отчаянный враг заслуживает заботы. Кто этого не понимает, тому не для чего цеплять к поясу меч, всё равно толку не будет. Однако плен есть плен, и они жались друг к другу, ещё не остывшие, не отошедшие от боя. Плечами подпирали ослабевших и без жалоб готовились принять свою судьбу.

Ратша подлетел к ним соколом. Кто-то вздрогнул: сейчас выдернет меч да примется рубить, тешась над безоружными. Ратша-оборотень таков, все его знали. Но он осадил белого коня, взметнув его на дыбы. И поднялся в стремях.

– Есть тут кто именитый? Про тех телега приготовлена. В Ладогу пойдём!

Пленники стали переглядываться, но вперёд никто не шагнул. Лишь один молодой парнишка, ясноокий корел, подтолкнул было плечом бородатого мужа, стоявшего в окровавленной словенской рубахе. Тот, безликий от ран, так и качался. Но сыскал силу твердо воспротивиться товарищу, не дал вывести себя вперёд. Ратша и не заметил.

– Ладно! – сказал он. – Нету так нету, шагайте пеши! И вот после полудня они тронулись в неблизкий путь: Ратша на коне, пленники, телега с добычей и пешцы-шестники – для пригляду. Когда скрылись из глаз, Рюрик повернулся к своему воеводе – как и Рат-ша, молодому летам, но уже с сединою в висках, с пятнами ожогов на шее и лице.

– Что скажешь, Вольгаст? – спросил князь. – Вижу ведь, опять недоволен. За что не любишь Ратшу?

Варяг Вольгаст помолчал, глядя пальцами круглую пряжку ремня. Потом сказал так:

– Жесток он, княже, неумерно. Безжалостен. Да и слушает тебя одного, Ждан Твердятич ему не указ. Вот и боюсь – беды не случилось бы...

2

Частые звезды ровно пылали в холодной небесной черноте: стояла, может, самая последняя ясная ночь перед осенними непогодами. Молодой корел лежал под этими звездами и временами засыпал от усталости, но ненадолго: тут же вздрагивал, вновь открывая глаза, чудилось – зовут... Приподнимался на локте, силился разглядеть впотьмах лицо лежавшего рядом. У израненного воина оба глаза прятались под повязкой и сипело в груди, но губы под усами оставались сомкнутыми: нет, не звал.

Корел привычно сворачивался клубочком на влажной лесной траве и смотрел, моргая белыми ресницами, на далекие звезды. Вот приведет их этот Ратша в свой город Ладогу, и что тогда? Не иначе – убьют, принесут в жертву грозным словенским Богам. Сказывают люди, куда как горазды эти Боги полакомиться жаркой кровью молодых, сильных телом врагов...

Корельскому охотнику меньше других досталось в бою. Надо думать, его первого и подведут к деревянному Перуну, вытесанному из почернелой колоды, и страшный Бог грозы и войны наклонится над ним, заслоняя ясное небо. И станет это последним, что увидят его живые глаза...

А потом его тело будет лежать где-нибудь в серой лесной земле, не покрытое ни крашеной берестою, ни деревянной крышкой, и никто не позаботится крепко связать его, чтобы Калма-смерть не сумела выбраться наружу и не стала разгуливать по лесам и ягодным болотам... и плоть будет отпадать от костей, пока наконец вовсе не смешается с зелёными мхами, не прорастёт корнями деревьев и травы... И девчонка, которая могла бы ему улыбнуться, равнодушно пройдет мимо с белым берестяным ковшиком для воды, с плетеной корзинкой

для румяной морошки. И его бестелесная душа будет вотще шептать светлоокой, что это он, Пелко, лежит здесь в земле. Ей лишь покажется, что волосы тронул шаловливый лесной ветерок...

Ну как тут хоть раз не шмыгнуть носом от жалости к себе?

– Пелко!.. – внятно позвал лежавший подле него. – Пелко, спишь?

Корел взметнулся из полусна. Потянулся к соседу, осторожно положил руку ему на грудь?

– Звал, боярин? Худо тебе?..

Тот помолчал, тяжело дыша, потом прошептал по-прежнему внятно:

– Ныне помирать стану. Не до Ладоги же тебе меня на закорках тащить.

Пелко так и отшатнулся сперва. Потом припал к товарищу, обнял:

– Я крепкий! Не в тягость мне!..

И говорил, говорил что-то ещё, а у самого сердце уже тонуло в чёрном омуте пустоты, ибо знал: не стал бы тот заговаривать о последнем, если бы не чувствовал – пришёл черед. Так-то вот – и не удержишь ни просьбами, ни ласковым уговором, не поможешь никаким словом, кроме ведовского. Да ведь не вышагнет бородатый кудесник из-за ближней сосны, не ударит резным посохом в гулкую земную твердь, отгоняя беду!.. Не сказка сказывается – быль совершается, и не оборвешь её, страшную, на полуслове, чтобы не пугала, не придумашь сам доброго конца...

Боярин с натугой приподнял руку, пошарил впотьмах.

– Ты, Пелко, на-ка вот, возьми... побереги пока. Доченьке передашь... Всеславушке... с собой мне дала... счастливое, говорила...

Он держал в пальцах тонкое серебряное колечко – как раз на девичий пальчик. Пришлось Пелко проглотить немужские слёзы и ответить твердо, по-охотничьи:

– Передам, боярин. Ты отцом мне был. Тот ловил воздух губами.

– Водимой моей не проговорись смотри... Не хочу, чтобы знала. Всеславушку несмышленную жаль... кто ж её теперь-то оборонит...

Думал, наверное, что один корел его слушал. Не видел, как рядом приподнимались тени, – весь полон принимал его смертную волю. И не только они, но и воины-сторожа, кто не спал.

Пелко всё-таки не выдержал, захлебнулся слезами, что было мочи сжал кулаки:

– Я обороню!

– Ты. – усмехнулся боярин. Хотел добавить – сам птенец ещё, в гнезде тебе, желторотому, сидеть, под крылом... Но сказать не успел: умер.

Утром, задолго до света, Ратшу разбудил его конь. Фыркнул над ухом, топнул копытом, и Ратша миготом оторвал голову от брошенного наземь седла. Не баловал мудрый конь, не проказить к хозяину подошёл. А не раз и не два было уже так, что чуял он ворога прежде всех сторожей!

Ратша огляделся. Серые сумерки едва рассеивали мрак, костры давно прогорели, однако опытный воин и в потемках понял почти сразу – опасности нет. Ратша поднялся и больше на слух пошёл туда, где устроили взятых в бою.

И немедленно угадал, отчего беспокоился конь. Один из пленников, высокорослый, могучий, лежал так неподвижно, как никогда не лежит никто живой. Вытянулся, приник измученным телом к ласковой мягкой земле – и столь крепко уснул, что даже плащ не колебался на широкой груди... Будто орел, которого жестокий охотник озорства ради разлучил с вольными небесами! Свистнула шальная стрела – и оборвался полёт, и в ужасе отпрянула осиротевшая высь, и хмелем-травой прорастают гордые крылья, распластанные в пыли!..

Мальчишка-корел молча полосовал лесной серозем длинным охотничьим ножом, готовя могилу. Когда подошёл Ратша, он не повернул головы.

Ратша откинул плащ с лица умершего, оглядел спокойные и вроде бы даже насмешливые черты. Насмешливые оттого, что этот воин ни в жизни, ни даже в смерти так и не признал себя побеждённым... Ратша нахмурился. Ведал же, что знакомец был перед ним – ладожанин из Вадимовых гридней, – а признать, сколько ни старался, не мог. Мешала отросшая борода, мешали спекшиеся повязки, следы ран и сама смерть, всегда меняющая лицо.

Ну добро! Ладно с ним, с именем, все видели, этот доблестно бился, тяжкий стыд бросить непогребенным такого врага. Ратша протянул руку поправить ему разорванный ворот и тут заметил на шее мертвого драгоценную гривну крученого позолоченного серебра: ещё куда получше той, что князь Рюрик подарил накануне ему самому.

– Вот как! – удивился он вслух. – Да тут муж непростой!.. Что же он на телеге-то ехать не захотел, жив был бы теперь!..

Люди подходили один за другим – и победители, и полон. Лишь корел всё так же работал, не глядя по сторонам. Ратша покосился на него и припомнил, что эти двое ещё вчера были неразлучны: хоробр-словенин, еле тащивший ноги лесной тропой, и мальчишка, всё оберегавший, всё подпиривший воина угловатым плечом... Ратша нагнулся и за шиворот выволок корела из ямы.

– Это кто умер ночью? Как величать? Белобрысый волчонок глянул исподлобья:

– А не скажу тебе!

Ратша не пожалел больной руки, приласкал парня сразу обоими кулаками – в лицо и в живот. Мог бы совсем вытряхнуть душу, но на первый раз пощадил. Пелко свернулся комочком на траве-мураве возле его ног, стал кусать слежавшуюся сосновую хвою, с хрипом размазывать зелень худой мокрой щекой... Он даже не пытался подняться.

Ратша обвел взглядом полон, и всякий видел: начнешь перечить – уляжешься тут же.

– Кого хоронить думали, спрашиваю?

Никто не опустил перед ним глаз и не ответил. А ведь не могли не то что постоять за себя – даже убежать.

А пропади они все! Ратша с трудом усмирив в себе подымавшуюся ярость и пошёл к своему костру, неся покалеченную руку в здоровой: растревоженная рана возгорелась огнем. А не корел ли это изловчился полоснуть его в бою?..

3

Когда они пришли в Ладогу, с низкого неба сеялся дождик, совсем осенний, мелкий, печальный. Однако чьи-то глаза издали высмотрели шагавших опушкой леса, и весть быстрее птицы полетела со двора во двор: идут! Идут!.. Ибо многие, кто держал руку князя Вадима, кто ушёл с ним к Ильменю богатства-счастья искать, оставили в Ладоге семьи. Вот и спешили навстречу женщины, загодя утирали слёзы, приглядывались на бегу – не видно ли среди полоненных любимого жениха, брата, отца? Иным везло. Двое мужчин уже глядели по плечам плачущих жен, и заросшие лица кривились в неловких усмешках. Шестники с копьями им не мешали. Сами все ладожане и с теми, кого привели, жили порою забор в забор. Случалась рать – и ратились честно. А после-то что кулаками махать?..

Пелко, в стольной Ладоге никогда не бывавшему, всё хотелось испуганно съежиться, спрятаться за спинами словенских друзей. Удерживался с трудом. Это сколько же здесь было дворов, и каждый – что широкая поляна в лесу! Сколько добротных, красиво и по-разному отделанных домов! А народу, народу-то!.. Больше, чем весь род Щуки, даже больше, чем три таких рода, соберись они все вместе ради великой охоты. Мелькали перед глазами незнакомые лица – голова кружилась, звон поднимался в ушах!

Была в Ладогe и линнавуори – крепость против врагов, как же без нее. Она высилась вдали, над зелёными травянистыми крышами, и оттуда уже шагали навстречу нарядные оружные люди, готовились честь честью принимать Ратшу и его молодцов.

Под ребрами время от времени прихватывало так, что только держись, однако о дубовом Перуне Пелко старался больше не помышлять; а восходило на ум незваное – зло гнал прочь и стыдился собственной трусости. Пусть их удавят, пусть зарубят топором, которым, как он слышал от словен, сам Перун побеждал небесного Змея!.. Что от оружия умирать, что у зверя в когтях, не едино ли? Не пожалеет боярин, что он, Пелко, в названных сыновьях у него ходил.

Пешцы-шестники, те, что стерегли их в дороге, тоже кланялись родительским дворам, подхватывая на руки детей. Кажется, одного Ратшу не встречала родня, но вот и он высмотрел кого-то там, впереди, – и выпрямился, красуясь на резвом коне, развернул плечи, упер руку в бедро: на загляденье хорош! А чуть погода нагнулся и поднял, взметнул к себе на седло девчущку-подросточка лета на два помоложе самого Пелко. Корел так и подобрался: ждал крика, испуганных слез... но она не забоялась улыбавшегося Ратши и не стала сердиться, когда он взял её за пояс, притянул близко к себе. Мало того – даже руку положила доверчиво ему на плечо... И лишь глаза, серые, тревожные, продолжали обшаривать полон, ища кого-то и не находя. На краткий миг Пелко нечаянно перехватил этот взгляд, и вдруг ужалило стыдом за оборванную рубаху, за голое грязное тело, видимое в прорехи! Даже сам удивился: да кто ещё такова, чтобы краснеть перед нею, с чего бы?.. Ратша что-то говорил девчонке, наклоняясь, касаясь усами её щеки... Ласково говорил. Потом накинул на неё свой широкий кожаный плащ, укрывая от дождя.

Пелко отвернулся от них, посмотрел вперёд и с тяжёлой дурнотной тоской подумал о том, что капище и деревянный Перун помещались, должно быть, в этой крепости, поближе к хранимой ими дружине... И что усы у Перуна, наверное, вправду были золотые, а лицо – как у Ратши... И вновь тёмным словом сам себя выбранил за трусость!

Вот съехали с вышедшими из крепости, и Ратша поднял руку над головой:

– Здрав будь, Ждан Твердятич!

Воевода Ждан, которому князь Рюрик оставил город и половину дружины с наказом слушаться, как себя самого, всего более походил на поседелого, украшенного шрамами зубра. Не было в нём той стальной гибкости, что отличала Ратшу. На версту веяло от воеводы неподъемной, несокрушимой, медлительной мощью! Как дубовая палица рядом с острым мечом. Стоял воевода – ни дать ни взять лобастый обомшелый валун, и голова в сивой гриве и такой же бороде росла прямо из плеч: мало не одинаков был Ждан Твердятич что в рост, что в ширину! Только маленькие голубые глаза поблескивали из-под бровей, как из-под еловых лап, дружелюбно и вовсе не грозно.

Родился этот воин, как сказывали, в словенской земле, но долго жил у варягов, женился на бодричанке и даже позднего единственного сына назвал варяжским именем – Святобор.

Ратше слезть бы перед ним с коня да поклониться старшему поясным поклоном!.. Но не слез, и воевода не осерчал – чего только не простишь за удалство такому молодцу.

– И ты здравствуй, Ратша! – прогудел он приветливо. – Ну, показывай, кого привел!

– Да простых ратников все, – отозвался Ратша. – Был один муж нарочитый, да от ран умер в дороге, – И добавил: – Князь велел, чтобы по уговору с ними.

Пленников выстроили перед воеводой, и Пелко принялся разглядывать Ждана Твердятича с тем жадным вниманием, с каким приносимый в жертву разглядывает жертвенный нож. А и то, чем не Перун! Такой как размахнется – у любого змеища все головы прочь... Вот только усы не золотые, а седые почти совсем. Сам рубить примется или кликнет кого?

Пелко больно прикусил губу, мотнул головой: боярина, девка сопливая, попомни! Умирал, и то о себе не плакался, а уж ты-то заранее горазд...

Воевода оглядел взятых в бою и заложил пальцы за пояс.

– Слыхали, люди Вадимовы? Рюрик-князь миловать вас велел, по домам сказал отпустить. Да чтобы мне воды в реке впредь не мутили!

Кто-то из молодых пленников ответил со спокойной дерзостью:

– А что её, реку, мутить, и так – Мутная. Воевода нахмурился было, но потом упер кулаки в бока и захохотал от души.

Тут площадь-торг перед крепостью стала быстро пустеть: родичи потащили вызволенных по домам – отмывать, перевязывать раны, отпаивать парным молочком... Пока не передумал воевода-то да не приказал в поруб засадить до возвращения князя! Разобрали всех, даже раненого датчанина увели с собой какие-то люди, похожие на него и одеждой, и речью. Трое или четверо звали с собой Пелко, но он не пошёл, начиная прикидывать про себя, где тут между дворами ближе до леса: лес корелу – дом теплый и друг верный, он утешит, он накормит, он вылечит! Даст отсидеться, пока выпадет случай наказ боярина по чести исполнить, а там и в сельцо родное, к матери, за руку отведет...

Но только шагнул – чавкнула под копытом раскисшая глинистая земля и конский бок мокрой белой шерсти заслонил лесные вершины:

– Эй, корел!

Пелко посмотрел на Ратшу-оборотня и ничего не ответил – да что тут отвечать! Лишь помимо воли начал убирать голову в плечи, а рука сама собой потянулась к ножу. Девчушка больше не сидела перед Ратшей на коне, ссадил, наверное, пока разговаривал с воеводой: не девичья забота слушать воинские разговоры... Она, поди, и убежала домой-то, что ей, славной, делать у Ратши на седле?!..

Отколе ни возьмись, подошёл к ним русобородый корел-людик, посмотрел на Пелко, пожалел.

– Слышишь, Ратша, – сказал он, впрочем, не слишком уверенно, – Парнишка этот мне не чужой вроде...

Ратша только показал в усмешке белые зубы.

– А клятвой поклянешься?

Корел пробормотал что-то и отошёл.

– Он и мне не чужой, – сказал ему Ратша. – Кровь пролил, послужит пускай! – И повернулся к Пелко: – Со мной пойдешь. Коня моего чистить станешь.

Тут Пелко подумал о том, что сотворил бы боярин, случись вдруг этому Ратше начать вот так над ним издеваться. Ведь напал бы на ненавистного либо сам себе всадил в сердце верный нож, чтобы хоть он избавил от срама!

– Не буду я коня тебе чистить! – заорал Пелко Ратше в глаза. – Твой конь, сам за ним и выноси!.. А я тебе не холоп!

Он увидел только, как тот выпростал из стремени ногу в мягком кожаном сапоге... Мог Пелко перехватить рысый прыжок, но против Ратши мало толку было в охотничьей сноровке. Показалось, будто, разбежавшись на лыжах, со всего лету грянулся в сухую лесину лицом! И кувыркком полетел в жаркую темноту... Ратша ещё пустил на него жеребца, чтобы раз и навсегда вышибить из дерзкого всё непокорство. Но злой конь не пожелал топтать распластанного Пелко – фыркнул, переступил бережно, не прикоснувшись копытом...

4

Двое молодых рабов тщательно отряхнули красноватые гранитные жернова и поставили на гладкий стол белый берестяной короб.

– Принимай, хозяйюшка ласковая, да смотри, пирожком попотчевать не забудь...

Оба были крепкие, плечистые, и от трудной работы даже не взмокли, только раскраснелись. Обоих хозяин-боярин когда-то купил здесь же, на шумном ладожском торгу, пожалев заморенных тощих мальцов. Привел домой, придел, за стол посадил кашу есть подле себя... И вырастил румяных, смешливых нравом парней – двору подпора, а понадобится, и защита. Особенно же нынче, когда сам надежда-хозяин далеко и надолго отлучился из дому для ратного дела, да и задержался что-то, запропал, будто перелетная птица, жестокой бурей унесённая с верного пути..

Ждала мужа боярыня, ждала Всеславушка – дочка любимая. Ждали – вот-вот вернется кормилец с остатками замиренного Вадимова войска, с полоном, который – все это видели – князь Рюрик велел безо всякого выкупа отпускать по домам... Лучше прежнего зажили бы!

Но всё медлил, всё не торопился в Ладогу боярин, и Всеслава с матерью теряли сон и покой. Боялись отлучиться со двора, на всякий шорох бросались к дверям – вот уже сходит с коня, сейчас стукнет в ворота...

Однако нынче в этом доме день был совсем особенный – нынче здесь пекли коровай.

Так уж оно повелось с незапамятно старых времен, с тех ещё, когда небо и солнце разговаривали на человеческом языке: при всяком большом начинании класть требу Богам. Да и как не поклониться Перуну, животворящему поле теплыми грозами, а с ним Яриле, дарующему всхожесть семенам и потомство всем тварям живущим! Как не дать сыра и ухи Огню Сварожичу, хлеб пекущему, дом согревающему, зверя лесного прочь отгоняющему!

Если же дело затевается непростое и желают люди вернее привлечь к тому делу милость Богов, – выбирают бурушку в стаде и режут её под святым деревом, а потом едят всем родом на жертвенном пиру. А череп с рогами вешают на ограду святилища – в напоминание Дажьдбогу с Макошью и ещё затем, чтобы бежала этого места всякая скотья болезнь...

Доблестны и грозны небесные князья – словенские Боги. Но тем-то славен справный князь, что никогда не станет до чёрного волоса обирать живущего у него под рукой, не отнимет последнего припаса. Не враги ведь – своя кровь, та самая, которую при злой нужде кликнет князь с собою в бранный поход, та, что вместе с ним заслонит землю от врага!

Потому-то и не сердятся Боги, когда люди подносят им вместо рогатой коровы рогатый хлеб-коровушку – коровай. А что! Какая жертва Богам радостней, в какой крепче священная сила – это как ещё поглядеть. Скинь с лавки одеяльце соболье – и ничего, спать можно, хотя пожестче покажется. А выдерни бревно из стены – и весь дом на стороны раскатится! Без мяса поясок ту же затянешь и как-нибудь перебеешься, а без хлебушка, пожалуй, быстренько ноги-то протянешь.

Боги – оком не скорбные, всё им ведомо, всё различают – от сердца положено или от жира-достатка, грех загладить...

Так-то вот.

Нет большего дела, чем рождение человека, смерть или свадьба...

Мягкое тесто нежилось на чистом столе, принимало в себя молоко и муку, добрело, становилось совсем живым. Скоро его закутают и уберут в тепло – подходить, распухать, изнемогать в ожидании печного жара.

Лепить коровай по обычаю помогали две женщины-соседки, у которых ещё живы были старики родители, а первые дети удались мальчишками. Такие помощницы – молодой на счастье. Трудилась у стола и сама Всеслава, месила, прихлопывала, ловкими пальцами пускала по макушке коровай сплетённые веточки и цветы. И улыбалась задумчивой улыбкой, ибо не идет на ум ничто худое и скверное, когда живет под руками, обретает дыхание будущий хлеб...

Мать, страдая, наблюдала за ней из угла.

– Ждет печь коровая, ждет невеста жениха, – проговаривали помощницы, и боярыня прижимала ко рту кулачок. Протопленная каменка дышала жаром; коровай подняли в шесть уверенных рук, трижды передали под ним друг другу кружку пенистой браги, по очереди отхлебывая маленькие глотки. Утвердили, накрыли, обложили горячим углем... Славный поднимется хлебушек, выйдет пышный да румяный, с крепкими рожками и мягким легким нутром, а уж духу – из избы во двор, а со двора на всю широкую улицу!

Отведав угощения, соседки поблагодарили и ушли, и тут-то боярыня обняла дочь, заплакала в голос:

– Отец твой вернется, как перед ним встану? Не уберегла, скажет, утушки малой, отдала белую лебедь ворону несытому, коршуну кривоклювому...

От каменки уже явственно веяло печеным, и добрый запах впервые говорил боярыне о неотвратимом и страшном, вплотную надвинувшемся на дом... У Всеславы тоже дрогнули губы, всхлипнула, прижалась, стала гладить мать по плечу:

– Ратша добрый ко мне... он любить меня станет... и отца!

Кого уговаривала – непонятно: не то мать, не то себя саму. А что ещё станешь тут делать, если сватается первый Рюриков гридень; а сватом, того гляди, нагрянет сам Жданвоевода, а домостройничают-то – боярыня хворая да дочка молоденькая, а вся храбрая оборона – двое рабов!..

– Добрый, добрый! – причитала мать. – Добрый, пока в женихах, а наскучишь – и выгонит, как Красу!..

Всеслава отчаянно мотала русой головой, туга коса змеей металась туда-сюда по узенькой девичьей спине.

– Не выгонит, я женой ему буду! Красу он вокруг печи не водил!..

Вот так жалели и уговаривали одна другую, а что толку: таков жених едет, что никаких отказов и слушать не станет. А заупрямишься – умыкнет, увозом увезёт девку, ещё и пожалеешь, что не породнился добром!

В конце концов боярыня уняла больное сердце – сама причесала Всеславу, принялась наряжать и охорашивать её к приезду гостей, да ещё заговаривала старыми заговорами, которыми от века оберегают невест:

– Как свеча яркая горит-светит ясно да красно, так и у тебя бы вся кровь в щечках таяла да ясно горела! И при чёрном, и при белом, и при женатом, и при холостом!..

Добыла из тайного сундука и опоясала дочь по голому телу нитками самой первой пряжи, что ещё непослушными детскими пальчиками напряла когда-то Всеслава: от недоброго сглазу храни, рукоделие, рукодельницу-невесту!

И тут же снова заплакала, будто своими руками собирала дочь не замуж, а медведю в пасть или в злую неволю за тридевять земель.

Когда сняли с жара коровай и выложили на стол отдыхать-остывать под вышитыми полотенцами, оказался он на диво высоким и сверху донизу в таком ровном, ярком, жарком румянце, будто и вправду сам дед Дажьбог благословил его своим огнем на честное веселие всем добрым людям и на радость.

5

Пелко так и прижился пока в крепости-детинце, в конюшне, там, где в самый первый день оставил его, избитого, немилостивый Ратша. Он тогда ещё пришёл в себя оттого, что белый конь Вихорь жалеючи обнюхивал его, лежавшего на утоптанном земляном полу, дышал теплом в расквашенное лицо... Пелко приподнял непослушную занемелую руку – отдал телом, покуда лежал, – погладил нежные шёлковые ноздри... Сильный злой жеребец насторожил уши, но головы не отдернул, не укусил. И от этой-то нежданной доброты

коня Пелко будто сломался: так стало жаль себя, несчастный листочек, сорванный с родной ветки, унесённый бурями, упавший наконец неведомо куда – и больно же падалось, холодно лежалось ему теперь!.. Съежился у Вихоря под ногами, закусил палец в зубах и неслышно заплакал... срам вспомнить – а что ты думаешь, ведь полегчало. На другое утро в благодарность за ласку поднес Вихорю хлеб, которым угостила его старуха чернавка. Красавец конь подношением не побрезговал, с достоинством взял горбушку из протянутой ладони, даже позволил Пелко поскрести щеткой белые бока, почистить копыта. Корел, привычный к охоте и зверью, не пугал норовистого резкими движениями, говорил с ним, умницей, ровно и тихо... Поглядели бы прежние друзья-меряне – решили бы, что он, Пелко, не одно волчье слово знал, но и лошадиное тоже. Да где они теперь, молодые удалыцы! Так и легли бок о бок на той кровавой поляне, опустели их берестяные колчаны, преломились в руках меткие луки...

Небогатые хоромы – конюшня, но лесной парень радовался уже тому, что оказался под крышей. Облюбовал себе местечко в углу, притащил туда охапку колкой соломы – чем не жилье! Небошь не под дождем и не в снегу, по-куропатичьи на морозе! Одного жаль, далеко остался тот весёлый щенок, остроухий и звонкий охотничий добытчик-пес... Славно было бы обнять его холодной ночью, услышать стук преданного сердечка, зарыться носом в жаркий густой мех!

Первое время он сидел в конюшне, как в логове, не решаясь высунуться даже во двор. Ладога страшила его многолюдием, разноязыким оглушительным гомоном: шагнешь через порог и пропадешь ведь, как в водовороте, погибнешь, не сыскав дороги назад! То ли дело в лесу, где струятся с елок серебряные нити лунного света, где каждое дерево радо указать полночь и полдень, а звериная тропа непременно выведет к ручью...

Но в конце концов он преодолел этот страх. Давно привычен был справляться с пакостной боязнью, приходилось ведь кидаться за зверем на лыжах с обрывистой крутизны, а то, ещё страшнее, нырять в стремнину под поваленные деревья! Сказал себе твердо, по-мужски: не вековать тут, подле коней, дело надобно помнить! Пора уже найти боярскую дочь, вернуть заветное колечко – да бежать без оглядки обратно в свой род, на Невское Устье!

Однажды вечером он тихонечко прокрался за дверь и долго озирался, запоминая, как стояла конюшня в просторном крепостном дворе. Мало ли – вдруг объявится Ратша, шагнет неожиданно из-за угла, тут успеть бы юркнуть в знакомую щелку, не угодив ему на глаза!

Но людей во дворе оказалось немного, и это придало Пелко безрассудства. Боком, боком миновал он отроков, скучавших со своими копьями в распахнутых настежь воротах. Те только покосились лениво – и ничего, даже спрашивать не стали, куда, мол, ещё пошёл...

Думал он первым долгом поискать соплеменников-корелов и вызнать у них что-нибудь о Всеславе, дочке боярской, но где там! Столь много народу немедленно замелькало перед глазами, засновало взад и вперёд – муравьиная куча, разворошенная лакомкой Отсо... Посмотрел Пелко и понял, что прошёл тогда с полоном по городу, города не увидав.

Деревянная линनावуори высилась над Ладогой, как соколиное гнездо над населенным птицами болотом: приглядывала, охраняла от залетных клювов да когтей. Ясно виден был речной берег-торжище и корабли, вы тащенные на сушу. Корабли показались Пелко бесчисленными, и немудрено: в роду Щуки меньше было кожаных охотничьих лодок, чем здесь – добрых морских судов!.. Пестрели вблизи них раскинутые палатки, вились дымки над заросшими крышами громадных гостиных домов: их выстроили себе торговые ватаги, ходившие сюда из года в год.

В самой Ладоге дома были поменьше. Знать, не больно хотели здесь жить дружным родственным очагом, рубили свою избу всякой новой семье. Тянуло оттуда, снизу, уютным дровяным дымком, доносились, заглушая все прочие, дразнящие запахи еды. В одном доме

– Пелко мог бы уверенно сказать, в каком именно, – пекли хлеб, в другом варили кашу, в третьем только что сунули в кипящий горшок пёструю невскую таймень... И под каждой крышей стряпали свое, не торопились делиться с соседями, не складывали принесённого в один общий котёл! Рассказать бы дома, да кто же в этакое-то поверит!

Долго присматривался Пелко, желая найти среди сотни хоть один знакомый корельский дом... Не удалось. Ну так что же, сказал он себе. Не все враз. Когда это добыча сама прыгала в руки, всегда прежде вымокнешь и высохнешь, распутывая следы, а потом ещё намерзнешься, лежа в густых кустах с луком в руке, со стрелой, брошенной на тетиву!

Он внимательно, до ряби в глазах, оглядывал просторные, привольно раскинувшиеся ладожские дворы. И видел, что лишь немногие избы темнели обветренными столетними стенами. Большинство казалось выстроенными совсем недавно, будто после великого и опустошительного пожара... Тут и припомнил Пелко рассказы боярина о храбрых, жадных находниках из Северных Стран, что дерзко грабили когда околорадье, когда сам град – даже садились в нём володеть, собирали мыто с купцов и дань с ближних племен! И как сражался с ними отчаянный князь Вадим, бил жестокого ворога и сам бывал бит, как всякое лето горела бедная Ладога – жгли её то те, то другие, выкуривая обороняющихся из-под крыш, словно барсуков из норы... И как наконец послали гонцов в Старград, к давним побратимам-варягам, испрашивая подмоги: слети, мол, сокол морской, оборони от напасти... Эх, боярин, боярин!

Пелко всё-таки не сыскал в себе духу спуститься со взгорка, решил лучше обойти детище кругом, рассудив, что для первого раза этого достанет. Сказано – сделано; и вот там-то, с северной стороны, открылись ему уменьшенные расстоянием холмики на высоком, обрывистом речном берегу. Одни, давние, покрывала пушистая зелень, другие сиротливо бугрились комьями обнаженной земли... Зоркий глаз корела отличил и красные от ягод рябинки, обозначающиеся кое-где над круглыми травяными горбами. Калмисто, – смекнул догадливый Пелко. Кладбище! Там, под серой землей, смотрят вещие сны погрузившиеся в смерть. Там, как он слышал, положили в курган и хороброго князя Вадима.

Рябина всегда растёт на местах, свято чтимых людьми; должно, было неподалеку и капище со множеством деревянных словенских Богов, а в нем, за оградой, на голову превосходя остальных, возвышался могучий Перун, которому его, пленника, так и не подарили... Пелко пообещал себе непременно добраться туда и посмотреть на Бога, проверить: вправду ли он столь грозен на вид, этот золотоусый покровитель ратных людей!

6

Не тучи чёрные на золотые небеса надвигаются – наезжают гости незваные...

Поздно вечером под боярскую кровлю собралась молодежь: любимые подружки и неженатые друзья – заступа невестиному дому от сватов. Иные из парней пришли в Ладогу с полоном и всё ещё выделялись кто рукой на перевязи, кто свежим шрамом на лбу. Глаза у них были злые. Эти, дай волю, впрямь не пустят Ратшу-оборотня на порог!

А девушки немедленно окружили Всеславу и принялись придиричиво проверять, так ли хороша, так ли убрана, так ли приодета. Известно же: хоть подышать возле невесты, хоть в бане с ней вымыться – глядь-поглядь, и себе накличешь сватов. Не того ли каждая хочет!

Но только зря подружки пытались Всеславу растормошить, зря принимались попеременно славить Ратшу и поносить, а то прямо спрашивать, люб ли жених и нет ли в тайной мысли кого-нибудь иного. Всеслава им не отвечала, сидела совсем неживая, лишь голова под расшитым очельем опускалась всё ниже... Знала ведь она Ратшу, знала отца, и была без вины перед обоими виновата, и поделаться ничего не могла. А ну как сойдутся эти двое, самые любимые, из-за нее, девки глупой, да не на живот-богатство, – на смерть?!..

– Едут! Едут!., – закричали со двора. Подхватила Всеслава, кинулась в угол, прижалась к матери и так за нее ухватилась – никто не оторвет!..

Первым на тяжёлом гривастом коне проехал ворота воевода Ждан Твердытич. Никто не посмел преградить ему путь, ни у кого рот не открылся спросить выкуп за впускание во двор: вот уж знал Рюрик-князь, кого оставлять в городе вместо себя!.. Впрочем, молодежь вокруг боярского дома подобралась тоже вовсе не робкая. Впустили с воеводой ещё двоих сватов, а перед Ратшей ворота захлопнули с треском, да так, что захрипел и удивленно попятился белый конь.

Ратша только улыбнулся и, подбоченясь, остался спокойно сидеть. Ничего, на то он и жених. Да не век здесь торчать, скоро быть во дворе и ему.

А Ждан Твердытич с двоими товарищами, как пристало вежливым гостям, спешили к самым воротам. Проворные молодые ребята тут же подскочили присмотреть за конями: напоят, накормят и хвосты заплетут, вот только расседлывать, пока не свершится стговор, остерегутся.

Воевода поправил на себе пояс с неразлучным мечом, погладил честную бороду, раскинул по плечам дорогой фряжский плащ и пошёл прямо к избе. Войдет такой в повалушу – и тесовый пол под ним жалобно захрустит!.. Ступил на крылечко и сказал, протянув руку к двери:

– Ты встань, моя нога, твердо и крепко, а ты, моё слово, будь твердо да метко! Тверже камня будь и липче клею, легче сосновой смолы, острее ножа, остро отточенного, – что задумаю, по-моему исполнись!

Отворил дверь и вошёл без помехи.

Мать-боярыня и Всеслава как ни в чем не бывало сидели за пряжей – будто бы знать не знали и ведать не ведали, что за гости такие перешагивали порог. Только одеты были нарядней обычного, да у обеих от волнения лица разгорелись ярким румянцем.

– Здрав будь, Ждан Твердытич, – поклонилась боярыня. – Пожалуй, батюшка, за дубовый стол, хлеба-соли с нами отведай...

Воевода малое время помедлил в дверях, строго глядя кверху – на матицу, – потом степенно прошёл вдоль половицы. Встал у каменки, принялся по обычаю всех сватов греть ладони, склоняя к себе в пособники и домового, и саму государыню-печь.

– Я к вам не пиры пировать и не столы столовать, а с добрым делом, со сватаньем! У вас, как я слышал, будто бы дорогой товар объявился, так вот у меня на тот товар есть славный купец...

Мало-помалу Ратше прискучило ждать. Спрыгнул с седла, вытащил гремучую плеть и трижды гулко стукнул рукоятью в ворота:

– Эй, отворили бы подобру!

– А не отворим, – долетело со двора. Ратша поскреб ногтем усы и пообещал весело:

– Высажу ведь.

И вправду высадил бы, снял бы створки с узорчатых петель – от такого доской не заслонишься. Шутить с ним шути, но только до поры, тут мера нужна!

– А что дашь, если откроем? – спросили из-за ворот.

– Пирогов дам, – посулил Ратша без скупости. – А девкам – бусы каждой да по частому гребешку!

Ворота заскрипели и отворились опасливо: не диво, если бы Ратша-оборотень вомчался во двор на коне и пошёл угощать плеткою вместо пирогов! Но Ратша не обманул. Гридни, приехавшие сватать товарища, вправду несли за ним корзину, вкусно пахнущую перепечей, – девки-лакомки налетели. Бусы и костяные гребешки Ратша раздавал им сам: бусы были зелёные, дорогие, из тех, что продавали на торгу заезжие гости. Да и гребешки оказались один к одному, все резные, чистой белой кости, красивые. Ратше что! Его длин-

ный меч кормит на княжеской службе, и кормит неплохо. Не обеднеет, поди. А обеднеет, так быстро нового добра себе наживет – от первой же дани, от бранной добычи.

Расхватав подарки и угощение, парни с девушками разбежались для нового дела. Вступить-то во двор Рат-ша вступил, а надо ещё и пройти по двору, в избу попасть. А кто это сказал, будто его так просто здесь пустят!

Растворилась дверь дома, вынесли в горшке жаркие угли, стали метать Ратше под ноги. Отважен ли жених, решится ли переступить через святой огонь? Допустит его до себя домашний очаг или остановит, погонит пришлого за забор?..

Всех злее старались недавние пленники. Норовили осыпать сапоги, прожгли плащ. Ратша не уворачивался, не отшатывался ни вправо, ни влево. Щелчками сбивал кусачие угли с одежды и шёл себе не торопясь прямо к крыльцу. В бою не шарахался ни от меча, ни от визгливой стрелы, этим ли его напугают!

У самого порога горсть жара полетела ему прямо в лицо. Опытный воин мгновенно заслонился рукой и тут же, прыгнув вперёд, поймал за локти самую боярыню-мать. Ишь ведь – не утерпела сердешная, покинула в избе гостей, сама выскочила оборонять дочь.

Полнотелая женщина трепыхнулась курочкой: Ратша и не думал сердиться, но руки были железные. Молодежь отступила в замешательстве. Не боярыню же угольями укроплять!

– Неласково, матушка, встречаешь!.. – засмеялся Ратша. Наклонился и расцеловал обмершую хозяйку в мягкие щеки. – Ну, сватов моих помелом не погнала, так и меня уж в дом приглашай...

Бедная боярыня как-то разом обмякла, ослабла и сама распахнула перед ним дверь. Видно, и вправду не уплыть от судьбы по чистой реке, не ускакать на быстроногом коне, не запереться коваными замками. Хочешь не хочешь, а пришло лихо – отвориай ворота!

...В избе воевода Ждан Твердытич поставил Ратшу у печи и немедленно принялся откупаться пряниками от непослушных девчонок, облепивших невесту и вовсю грозившихся тут же отмахнуть ей ножиками драгоценную девичью косу.

– Пряники ешьте да прочь кышьте! – незло и в треть силы, но так, что зазвенели по полкам горшки, рявкнул на них воевода. – Не так уж вы, мелкота, на еду ей да на наряды истратились, чтобы я ещё от вас откупался!

... А сам всё оглядывался на Ратшу, нарадоваться не мог: ни дать ни взять – собственного сына женил. Гридень славный воеводе не сын ли! Ими, гриднями, что отец сыновьями, крепок воевода, крепок сам князь. Как не уважить такого, как не присватать понравившуюся девчонку! Пусть себе женится да родит столько славных сынков, сколько черепков в битом на свадьбе горшке!..

Вот сваты отогнали подружек, подняли невесту с лавки.

– Испытаем-ка, не слепую ли хозяйку Ратша берет! Сор-то разглядит на полу?

Расстегнули кожаные поясные карманы, стали кидать на пол вправду сперва сор, а после и серебряные монеты. Всеслава металась туда-сюда, собирала всё это веником, проказливые сваты тот веник со смехом и прибаутками у неё отбирали, перебрасывали друг другу. Всеслава пыталась отшучиваться, потом слёзы выступили на глазах. Ратша разглядел, прикрикнул:

– Испытывать испытывайте, а обижать не велю! Всеслава быстренько кончила мести, подняла голову, улыбнулась ему робко и благодарно.

– А жениха-то посмотри!.. – осмелев, подала голос боярыня. – Вот поглядим ещё, довольно ли хорош!..

Ратша поклонился боярыне и подал ей большой расшитый платок. Потом подошёл к Всеславе и вложил ей в руки красивую бисерную кичу – замужний убор. Раскрыл сумку,

достал серебряные височные колечки с круглыми завитками, сам приложил ей к очелью. Такие только-только появились ещё у ладожских наряжѣх: и откуда прознал?.. Всеслава глядела на него снизу вверх, часто моргала, заливалась румянцем. Ратша не удержался, обнял её, легко поднял над полом, крепко поцеловал прямо в губы. Боярыня вскинулась было – ужо тебе, бесстыжему, при людях, при огне печном, да до сговора-то!.. – но он выпустил съезжившуюся Всеславу и повернулся к ближним подругам. Выволок из-за пазухи длинную разомкнутую гривну и принялся, хвалясь молодечеством, голыми пальцами рвать её на куски. Гривна скрипела и казалась в его руках восковой. Подружки примолкали одна за одной, тихонько брали блестящее, в бою добытое серебро: кусочки были горячими. Воевода, довольный и гордый, то гладил сивую бороду, то ерошил её пятерней. Таким бы вырастить Святобора!

– А ну! – приказал он погодя. – Неси коровай!

Гридни засуетились, выскочили вон. Вдвоем, на прикрытом блюде, внесли жениховское подношение Богам, славным Рожаницам и повелителю Роду. Тут же выставили невестину требу, и два коровай легли на стол бок к боку, ласково трогаясь загнутыми рожками. Хлеб с хлебом не ссорится. Разрежут их и перемешают куски в знак того, что быть отныне одному столу вместо двух разных, быть двум семьям крохами из одной печи.

У боярыни рука с ножом задрожала... Воевода Ждан её отстранил. Сам переломил хрустящие корочки, сам дал по крайчику невесте и жениху. Всеслава вдруг заплакала, еле прожевала горбушку. А потом вовсе вскочила и убежала из-за стола, и Ратша беспокойно вытянул шею – куда ещё, не убежит ли совсем? Бывало, сказывали ему, и такое.

Но Всеслава вскоре вернулась, подошла к жениху... и с поклоном подала ему рубашку – добрую, льняную, всю расшитую по рукавам и груди!.. Боярыня так и ахнула. Она, мать родившая, и то ведать не ведала, что дочь сшила эту рубашку Ратше в подарок, рубашку, которую никогда не дарят постылому, которая обо всем рассказывает яснее всякого слова!

7

Минуло несколько дней, и однажды погожим вечером Всеслава отправилась на девичьи посиделки – для нее, просватанной, быть может, самые последние в жизни. Будет, конечно, ещё девичник, на котором она попрощается с вольной волюшкой и подарит любимой подруженьке вышитое очелье... Да и после свадьбы отчего не сходить в женский дом, не посидеть вместе со всеми за рукоделием и песней! Так-то оно так, но только прежним, девчоночьим, развесёлым, с шутками-прибаутками и полночными гаданиями о женихах, – таким более не бывать. Ведь и нынче уже сидела бы в чулане, укутанная скорбным красным покрывалом, если бы мать не откладывала сговоренного пира, не тянула со свадьбой – сердце не поворачивалось отдать Ратше единственное дитя!

На руке у Всеславы покачивалась корзинка, а в корзинке, под полотенчиком, тихонько дышали теплом свежие пироги. В женском доме жило несколько старух, которым злая судьба не оставила к закату дней ни избы, ни двора, ни гостеприимной родни. Дом, конечно, совсем им не принадлежал, но молодежь подкармливала бабок, делая вид, будто всякий раз откупает у них лавки по стенам, пол под ногами и крышу над головой. Беззубые старинушки благодарили чем могли: учили смешливых озорниц премудрым вышивкам и песням, каких всегда в достатке на памяти у много живших людей. Учили закликать в гости весну, радостно встречать первый хлеб нового урожая и честно провожать смертные сани, увозящие на кладбище-буевище самых любимых...

Всеслава торопилась, но белого коня, поднимавшегося встречь ей, от реки, заметила издалека. Этого атласного, будто скатным жемчугом вышитого жеребца ни с каким другим нельзя было спутать, среди всех выделялся особенной лебединой статью, лютым норовом и

могучей красой... У Всеславы гулко стукнуло сердце, когда подумала, что вот сейчас увидит Ратшу. Разом прокрались в душу радость, неуверенность и томительный страх. Подойдет ведь – и положит широкую руку ей на плечо, и пойдет рядом, укладывая три её шага в один свой. Наклонится к ушку и станет рассказывать что-нибудь смешное, и она будет слушать его и не слышать, и лишь чувствовать тяжесть его руки на своём плече, и пламенеть брусничным румянцем, и гордиться, и одновременно втайне ждать – да когда ж наконец выплывет из-за деревьев зеленая, в поздних цветах, крыша женской избы!

Смешно и удивительно молвить – отлегло, когда увидела, что не Ратша был с конем.

Какой-то незнакомый парень вел под уздцы Вихоря, не дававшегося, кроме хозяина, никому! Дело невиданное. Ратша всегда сам купал верного товарища, сам чистил его и кормил... И первое, что пронеслось, – заболел ненароком, занемог злым недугом, лихой лихорадкой? Вот ещё беспокойство!

Парень был корелом: рубашка, вышитая по груди утиными лапками, пояс с круглой застежкой, мягкие кожаные сапоги с тесемками, завязанными под коленом... Рубашка, как заметил пыливый девичий глаз, была выстирана и опрятно зашита по местам недавних прорех. Злющий Вихорь перебирал крепкими ногами, ластился, ловил мягкими губами его ухо.

Всеслава пригляделась внимательно, и ей показалось, будто она уже видела где-то этого человека. Но сказать наверняка было мудрено: половину лица заливал страшный синяк, правый глаз жалко слезился, не в силах открыться, распухшие чёрные губы потрескались. Другая сторона лица была скуластая, мальчишеская, в ярких веснушках – ни дать ни взять, ей, Всеславе, ровесник... Но зато руки у корела оказались костистые, шершавые, взрослые. Как хочешь, так и суди. И желторотым не назовешь, и полное мужское имя не совсем ещё по плечу!

Любопытной Всеславе крепко захотелось расспросить его, кто таков и почему это Ратша доверил ему коня. Но, подумав, сдержалась: холопа небось нового купил на торгу – и была нужда ей заговаривать с холопом!

Она отвела глаза и уже почти с ним разминулась, когда парень вдруг дерзко взялся за дужку корзины:

– Постой, девица... Ты, что ли, Всеслава будешь, боярская дочь?

Он и вправду оказался корелом: выговора ведь не утаишь, откроешь рот – он тут же и выдаст. Всеслава проворно выдернула у него корзину:

– А тебе дело какое?

Заплывший глаз подрагивал белесой ресницей в узкой щели между бровью и щекой.

– Ты, что ли, Всеслава? – повторил он медленно. Она осердилась:

– А хотя бы! Дело-то, говорю, какое тебе? Вот людей позову!

Неторопливый корел расстегнул пряжку у горла, сунул руку за ворот, вытащил что-то и перекусил белыми зубами крепкую плетеную жилку:

– Возьми... отец твой наказывал тебе передать.

На ладони у него лежало серебряное колечко. Ждал Пелко – быстрее голодного птенца схватит-склонет его боярская дочь да ещё, чего доброго, шустрим бельчонком припустится наутек. Не пришлось бы ловить прежде, чем дело досказывать!

Не угадал. Всеслава сперва отшатнулась, как от огня. Даже руки спрятала за спиной – не поверю такому, не поверю, обман все!.. Потом наклонилась, разглядывая, к его ладони, и Пелко заметил, как отступила вся краска с розовых девичьих щек – побелели, что бере-ста... Сейчас заплачет.

Но тут Всеслава с неожиданной силой ухватила его за руки повыше локтей и попыталась трясти.

– Что с батюшкой моим?! Да говори же!..

– В Туонеле твой отец, – сказал Пелко, неловко высвобождаясь. – Умер от ран, и мы его похоронили. Колечко вот тебе велел передать. Да ещё велел, чтобы жена его никак не дозналась. Она, говорил, всё сердцем скорбела, так пусть, мол, лучше уж ждет. Ты-то не проболтайся смотри, боярская дочь.

Всеслава забрала у него серебряный ободок. Подняла на корела словно бы внезапно ослепшие глаза... потом вновь повесила голову, и Пелко близко увидел волосы у неё на затылке.

– Всё расскажи. – потребовала она тихо. И закапали из глаз частые слёзы – но без стопа, без всхлипа. «Храбрая девка, – подумал Пелко невольно. – Дочь воина. Прав был боярин: кому знать, если не ей».

А она между тем вдруг ясно припомнила, когда и где видела этого парня: да в полоне же, что Ратша привел! Всплеснула руками и почти прокричала с ужасом и горем:

– А Ратша-то куда смотрел? Или что... он же... и убил батюшку моего?..

Пелко так и вскинулся: Ратша!.. А и было же о чем порассказать, да о таком все, отчего эта девка-невеста замкнулась бы в доме на тридцать три крепких засова и не пустила более жениха не только что в избу – даже во двор! Открыл рот корел, радуясь, что досадит злему врагу... И сыскал в себе силу не чернить Ратшу-оборотня, не порочить безвинно. Не по-охотничьи вышло бы. Не по-мужски. Ещё вроде даже и заступился за него перед Всеславой, сказав так:

– Ратша отца твоего не признал... Тот в повязках лежал, в голову раненный. Ратша его велел похоронить честно... Сам ему рубаху поправил, меч бесскверный принёс и каши котелок... Всех нас спрашивал, кто таков, да ни от кого не добился.

Всеслава вытирала глаза, унимая непослушно катившиеся слёзы. Стыд плакать дочери храбреца: пусть голосит узнавшая, что отец любимый струсил в бою.

– Сам ты чей?.. – спросила она наконец. – Ты ко-рел ведь?

Он ответил, смутившись:

– Мою мать зовут Огой, отца – Антеро, а меня – Пелко... Мы, ингрикот, в Невском Устье рыбу ловим...

Всеслава выговорила твердо:

– Как же мне тебя наградить? Пирожка хоть возьми... У голодного Пелко давно уже урчало в животе от доброго запаха. Но от отказался – не годилось объедать сырых старух. Потом повёл лопатками под рубахой и вдруг улыбнулся здоровой половиной лица:

– Мне... позволишь если... в баньке попариться бы!..

Белый конь Вихорь первым заметил показавшегося Ратшу. Выдернул повод у Пелко из рук, звонко заржал и пустился к хозяину.

Ратша обнял любимца за крутую теплую шею, быстро и внимательно оглядел – чисто ли выкупан, так ли расчесаны-убраны грива да хвост... Придаться было не к чему, стоило лишь подивиться, сколь быстро приручил мальчишка хитрого зверя. Ратша намотал повод на руку и пошёл к тем двоим, ведя жеребца.

– И ты здесь, рыбка-щучка весёлая? – обратился он к Пелко. – Всё волком глядишь, а в лес не убегаешь!

Пелко и впрямь смотрел исподлобья, как ощетинившийся бирюк. Назвать ижорского парня рыбкой-щучкой значило от души его похвалить, и Ратша, может, вправду был им доволен за Вихоря, – но в устах врага и похвала делается ядовитой. Пелко выговорил сквозь зубы:

– Я-то, может, и щучка! Да ты мне не ловец! Длинный нож висел у него на поясе в узорчатых ножнах – этот охотник сумеет выхватить его вмиг. Ратша перестал улыбаться, сощурился:

– Вот как...

Он был оружен – при мече, но наверняка обошёлся бы плеткой. Или вовсе кулаком. Пелко привык не теряться на быстрых невских порогах, привык загонять длинноногих лосей и одолевать зубастых волков, хватало у него для этого и ловкости, и силы. Но таким, как он, на одного Ратшу следовало выходить впятером. Оба это понимали, и Ратша почувствовал невольное уважение: кусачий щенок не опускал перед ним глаз, хоть и знал, что бит будет нещадно.

Выручила Всеслава. Бесстрашно встала между ними, взяла жениха за руку.

– Отвез бы меня лучше, – сказала она негромко. – Там девки скучают, заждались уже небось.

Воин усмехнулся в усы и не стал отпихивать её с дороги. Взял за пояс, посадил на коня, спросив мимоходом:

– Что глаза красные? Обидел кто?

– Нет, – отмахнулась Всеслава. – Плач свадебный припоминала.

Пелко молча поразился ловкой неправде...

Ратша коснулся ладонью белого крупа Вихоря, вскочил ему на спину охлябь и стиснул коленями, посылая вперёд.

Пелко долго провожал их глазами. Вот Ратша обнял Всеславу за плечи, придерживая впереди себя на коне. И наклонился к ней – наверное, опять нашептывал на ушко и касался жёсткими усами её щеки...

И она не отталкивала страшного, не звала на помощь, не умоляла спасти!

Мать качала колыбельку
и не ведала, не знала,
для кого качает дочку —
для супруга или волка?
То ли муж её обнимет, с
ам добычливый охотник,
статный, шёлковобородый,
молодой хозяин справный,
то ли волк в чашобе встретит,
разорвет шатун свирепый,
приласкает зверь голодный,
ворон косточки похвалит...

Пелко страстно захотелось избавить её, утешить, оборонить. Или не это наказывал ему боярин при кончине? То-то порадовался бы, пируя за широким столом у хозяина Туони, то-то уж похвалил бы приёмного сына...

Пелко ещё раз нашёл взглядом Вихоря, чей позолоченный закатным солнцем круп мелькал уже далеко. И вдруг обиделся на Всеславу за отца: думал ли умиравший боярин, что дочь его родная станет миловаться-невеститься с Ратшей!..

Пелко круто повернулся и пошагал прочь. Передав колечко, он волен был сбежать, благо запирает его Рат-ша и не думал. Но тот не охотник, кто бросает товарища в лапах у зверя. А тем более названую сестру.

Но только в баню к ней во двор он не пойдет. Ни за что не пойдет. Хотя, конечно, корелу прожить без бани вовсе не просто. Без жаркого веничка, без душистого пара с облитых квасом раскаленных камней... почти так же тяжело, как без вкусной рыбы и без мягкой сосновой коры!

ГЛАВА ВТОРАЯ

*С виду был тот лук красивым,
но имел негодный норов:
в будни он просил по жертве,
а по праздникам и по две.*

Калевала

Одноглазый плыл вперёд и чувствовал, как быстро оставляли его силы. Ещё накануне он играючи пересек бы неширокое лесное озерцо, но вчерашнее миновало, не вернешь его. Даже Одноглазым он стал только что, когда заживо сгоравшее дерево, рушась, хлестнуло его по голове сучьями в дымившейся смоле... Теперь голову и глаз невыносимо жгло, так, что хотелось сжаться в комок и заплакать. А в тот первый миг он даже не остановился, даже не умерил отчаянного бега, потому что вздыбленная шерсть уже потрескивала у него на боках, сворачиваясь от жара, и воняла паленым...

Огонь летел вершинами обреченных деревьев, и угли дождем сыпались с них наземь, и птицы, желавшие отсидеться в кустах, сгорали вместе с кустами. Огонь обогнал Одноглазого и первым ворвался в подсохшие у берега тростники – волка встретила стена дыма и пламени, заслонившая последние клочки чистого неба. Она преградила ему путь к спасительной воде, и надо было бы остановиться и подождать, пока выгорят ломкие стебли... Какое там! Гибельный ужас распластал Одноглазого в немыслимом прыжке, бросил его прямо через огонь. Дымные языки опалили брюхо и грудь, и он взвыл, погибая на лету от боли и копоти, наполнившей горло. Но в следующий миг холодная вода расступилась под его телом, он провалился в неё с головой и понял, что раскаленная смерть уже не сумеет его схватить. Вынырнул и отчаянно закашлялся, замолотил лапами, силясь удержаться на плаву... Он, ещё недавно умевший пересечь любое озеро с добычей, брошенной на загравок!

...Одноглазый упрямо плыл вперёд, к дальнему берегу: туда, он знал, не доберется пожар. Но ослабевшие лапы всё медленнее двигались в усыпанной пеплом воде, и собственная набрякшая шкура впервые мешала движению, тянула вниз, в страну рыб и водорослей, на дно.

Он уже мало что различал вокруг себя. Зрячий глаз затягивала жемчужная пелена, вода проникала в горло и в ноздри, он глотал её и задыхался. Он уже понимал, что берега ему не видать, но сражался по-прежнему: так уж воспитали его мать и отец, так бывает, когда олень спасается по глубокому снегу, где вязнут не столь длинные волчьи ноги, и уже ясно, что добыча уйдет и брюхо снова останется пустым, – и всё-таки до последнего длится погоня...

Одноглазый не услышал приближавшегося плеска. Но твердое дерево толкнуло его в плечо, и что-то совсем не похожее на острозубую пасть крепко ухватило за шиворот, надежно приподняло его голову над водой.

Вот тогда-то он перестал плыть и повис в воде, бездумно отдаваясь нечаянной передышке. Потом до сознания достучался запах: его держала человеческая рука. Но даже это не заставило волка пошевелиться, и лишь когда его стали обвязывать поперек тела ременной петлей, Одноглазый медленно ощерил клыки, дернул больной головой и попробовал зарычать. Получился хрип, никого, конечно, не испугавший.

– Тихо ты, – негромко сказал ему человек, – Терпи теперь... Перевернешь!

Петля больно сдавила грудь, но дышать было можно, и, главное, вода больше не заливала горла, не затягивала в глубину. В конце концов Одноглазый положил голову на низкий борт кожаной лодочки и затих. Человек накрепко привязал свободный конец ремня и пере-

двинулся, уравнивая тяжесть матерого: вот ведь волчина, того гляди, совсем утопит легкую лодку... Поднял короткое весло и принялся понемногу грести.

Потом Одноглазый лежал на мягкой опавшей хвое, и запахи живого зеленого леса вновь смешивались с жарким дыханием огня. Но теперь это был добрый ручной огонь, никому не причиняющий беды. Он не кусался, а лишь сушил на волке промокшую шерсть. За это Одноглазый терпел его подле себя, как терпел и человека, который осмеливался прикасаться к нему и даже трогать рану на его голове... Когда настала ночь, охотник беспечно уснул по другую сторону костра. Тогда Одноглазый попробовал встать, и это ему удалось. Осторожно обогнув тлевшие угли, он приблизился к человеку. Тот пробормотал что-то во сне, перевернулся на спину, показывая незащищенное горло... Одноглазый внимательно обнюхал его, а потом, припадая на обожженную лапу, ушёл в лес...

Убегай отсюда, серый,
жадный зверь с железной пастью,
уйди в края чужие,
на скалистые вершины,
уйди в страну туманов,
где не выросли деревья,
где у трав макушки сохнут.
Убегай, пока есть когти
у тебя на крепких лапах
и на челюстях есть зубы!

1

Большой торг был в городе Ладоге и богатый! Со всех сторон света наезжали гости-купцы. Кто с запада, из-за хмурого холодного моря, из варяжских, немецких, прусских земель; кто с юга, от рода полянского, болгарского, хазарского. Ещё иные с востока – из-за водских болот, из бескрайних чудских и биармийских лесов... И наконец северяне: урмане, даны и свеи. Те самые, что раньше, на памяти живущих, нещадно обирали здешние места. Когда разбойными набегами, когда принуждением к откупу или данью. Всех в страхе держали. Морские корабли налетали и улетали клевучими быстрокрылыми птицами, растворялись в синем безбрежье: не достанешь ни проклятием, ни стрелой!

...Рюрик, в Ладоге сев, первым делом послал к невским ижорам, снял с них Вадимом наложенную дань.

Не за так снял, конечно, – но с тем, чтобы зорко стерегли они находников в Котлине озере и на Невском Устье. У Вадима при этом ни позволения, ни совета князь-варяг не испросил. И тот, гордый, не забыл ему попрапия своей княжеской воли, поселил обиду в тёмном закоулке души, как мизгира в тенетах. Да и шептуны, каких при всяком князе достаточно, обоим помогли... только здесь-то речь не про них. Ижоры зато отплатили честь честью и с лихвой! Стоило теперь далекому морю процвести чуждыми парусами – и Ладога о том узнавала немедля.

В первый раз князь послал вперёд молодого воеводу Вольгаста, того самого, с обожженным лицом. Не так просто послал – о трёх снелках, варяжских боевых кораблях. Принял воевода непрощенных гостей, датчан-селундцев, да и спросил прямо: с чем, мол, пожаловали сюда? Гордо спросил и грозно, как следовало то защитнику, хозяину вверенной земли. Храбрые датчане тогда подумали-подумали – и не стали вязаться с варягами, подняли на мачты белые щиты: с миром, стало быть, торговать к вам пришли.

Сказано – сделано. Вольгаст их пропустил. Торговали они, впрочем, недолго, ибо никаких дельных товаров с собою не привезли, и вся Ладога потихоньку над ними смеялась. И корелы, и чудь, и меря со словенами. А князя Вадима разбирала досада, что не он потеху ту людям учинил.

Когда же гости стали собираться домой, князь-мореход наказал им запомнить:

– А с красным щитом дороги сюда никому нет. И впредь по сему будет!

Те только хмуро кивали. Волей-неволею приходилось кивать. Рюрик ведь говорил, не иной какой князь, а про него, про Рюрика, в Северных Странах дважды не спрашивали, кто, мол, ещё таков...

Ладно же! На том тогда распростились, и вроде даже добром. Но едва миновала зима, такая силища нагрянула с моря – туча чёрная, молниями перепоясанная! Одних мачт больше было, чем добрых деревьев во всех приневских лесах... Так, по крайней мере, донесли ижорские сторожа.

Тут уже Рюрик сам кликнул боевой клич и велел спускать на воду все корабли.

И была сеча великая на море Нево! А случилась она в голубой весенний день, холодный ещё и какой-то дремотный, когда медленно уходили в Устье расколотые льды, и ложилось на ленивые гладкие волны туманное белесоватое марево, и дымы над ладожскими крышами прямыми сизыми столбами уходили в небо и там, на высоте полёта стрелы, растекались по сторонам, упираясь в невидимую твердь... на кораблях не поднимали мачт, не ставили парусов: не для чего. Так, на вёслах, и пустились друг другу встречь.

Шум битвы и крики сражавшихся слышны были, говорят, аж у города, и далеко-далеко в море опрометью скатывались с облюбованных льдин пятнистые невские тюлени...

Тогда-то убедились чужеземники – впрямь не было птицы страшней злого белого сокола, слетевшего на этот берег из Варяжской земли! Едва пять кораблей сыскали дорогу обратно в Невское Устье. А уж сколько сумело уйти невредимыми, многих ли не заклевали насмерть ижорские огненные стрелы – про то ведал лишь сам сердитый Перун да ещё старый Укко, справедливый Бог все корельских племен.

Со дня памятной битвы датчане, свеи, урмане приходили в Ладогу все больше для торгова. Бывает и так, что сильному приходится склониться перед сильнейшим, и ничего удивительного в том нет. Случалось разное, как без того. Но если уж эти люди вывешивали на полосатый парус белый мирный знак – обманывали нечасто. Была и у них своя Правда, через данное слово переступить не велевшая.

А самые любопытные и отчаянные викинги, пользуясь миром, повадились ходить далеко за ладожские пределы – на юг и восток. Было там что поглядеть, было что продать-купить...

Вот и ныне стоял в Ладоге один такой корабль, побывавший за тридевятью землями: за рекой Сувяр свирепую, за морем Онего неласковым, за волоком, за лесами дремучими – на озере Весь. Теперь этот корабль возвращался на остров Готланд, домой. И не пуст возвращался. Плотно лежали в его трюме прекрасные льняные ткани из Белоозера и бобровые меха, которым на севере цена была достойная – золото да серебро.

И пора, давно пора бы стройному кораблю расправить над Мутной широкое расписное крыло, унести стосковавшихся мореходов, да и самому задремать на зиму в знакомом корабельном сарае... Легко вымолвить – выполнить нелегко! Дыбилося на пути, грохотало великое Нево, одержимое яростными осенними бурями. Лютовало оно в тот год страшней страшного. Хочешь, нет ли – жди, куда уймется. А там холода.

И пришлось бы невезучим ватажникам сбивать руки о мерзлые вёсла, проводя Невским Устьем обледенелый корабль!.. Выручило нежданное. На счастье готландцев, Ждан Твердятич дружески сошёлся с Эймун-дом, хозяином лодьи. И с чего бы? Никому не ведомо, разве

только самого воеводу и спросить. Всех вокруг удивил и сам, наверное, удивился немало. Сколько таких же срубил он в неистовых битвах прежней своей жизни, на Поморье варяжском, да и здесь! А вот с этим сдружился. Должно быть, почувствовал к могучему гё-ту ту родственную приязнь, что так часто братает неустрашимых и сильных.

И вот однажды, видя, что всякий новый день прибавлял мореходам тревоги и беспокойства, воевода призвал их всех к себе и сам предложил:

– А оставайтесь-ка вы, други, у меня тут зиму зимовать! Весной и вернетесь, по высокой-то воде, первыми будете у себя в Павикене на торгу!

Гёты посоветовались меж собою и согласились, поблагодарив. Живо устроили на берегу сарай для корабля и чуть повыше – длинный дом внутри огороженного двора: надвигавшиеся холода не велели мешкать в работе. А скоро было замечено, что народу в Гётском дворе стало ото дня ко дню прибавляться. Стекались под гостеприимную крышу урмане, гёты, свеи, датчане, служившие князю Вадиму и желавшие теперь вернуться домой... Эймунд, хёвдинг-вождь, принимал всех, не спрашивая, кто таковы.

...То-то прибыло радости влюбчивым, глупеньким ладожским девчонкам!

2

Сведомые люди вот о чем толковали.

Шел как-то Ратша по торгу вдоль невеликой Ладожки-речки, у её впадения в Мутную, и вдруг увидел негаданное, неожиданное: босую девчонку, со всех ног бежавшую краем воды. И погоню за нею – краснолицего мужика как раз на голову пониже самого Ратши.

– Рабу держи!.. – кричал краснолицый, не в силах поймать своё добро сам. – Рабу беглую держи!..

И хотя никто не торопился ему помогать, было ясно – рано или поздно подскочат замешкавшиеся слуги, встанут на дороге, схватят в охапку. И кто-то мерзкий снова пожелает обнять её ещё прежде, чем будет взвешено серебро... Жаль девчонку, да только и от хозяина бегать Правда-то не велит!

А ничего не скажешь, хороша была русокосая. И горда: птица, из клетки рванувшаяся! Ратша живо углядел тонкий стан, соболиные брови и ясные глаза, разгоревшиеся отчаянием и гневом. Эта-то красота всё и решила. Он широко шагнул неперерез, и рабыня забилась у него в руках, как рыбка в сети. Попалась, горемычная!

Никто не крикнул Ратше обидного слова, но немногие и похвалили. Нет хозяйства без рабов и рабынь, да ведь всему живому хочется на вольную волюшку, этого ли не понять...

Подоспел торговец и сразу принялся, отдуваясь, расстегивать на себе ремешок – повязать быстроногую, чтобы не бегала больше.

– Давай сюда её! – сказал он Ратше. – Тебе, гридень, спасибо. Приходи потом, любую выберешь. Уж с тебя дорого не запрошу...

А сам и руку уже протянул – свести ослушницу обратно в шатер, кликнуть челядь и без лишних глаз всыпать ей хорошенько, чтобы впредь тихо сидела, хозяина перед людьми не срамила.

Был же этот гость пришлый откуда-то издалека – может, кривич плесковский, а может, вовсе полянин. И то: знал бы лучше, с кем говорит. – не радовался бы заранее. Ратша только посмотрел на него сверху вниз и скривился в нехорошей усмешке:

– Руки, гостюшка, убери... тебе отдать, сказываешь? Да ведь девка-то моя.

– Как твоя? – опешил торговец. Всякое приключалось с ним в дальнем пути, но чтобы обирали среди бела дня и прилюдно, прямо на торгу, – ни разу ещё!

– А вот так, – ответил Ратша спокойно. – Была моя, да украл незнамо кто. Отколе к тебе попала, не ведаю. А можешь сказать, где взял, веди до третьего свода.

Вокруг них начинали понемногу смеяться. Все знали ладожскую Правду: теперь, чтобы только отмыться – не сам, мол, умыкнул со двора, перекупил лишь, – бедняга гость должен был бы вести Ратшу к прежнему владельцу девчонки, а от него ещё к другому, на кого тот укажет. И лишь с него потребует себе за убыток, за то, что продавал, не ведая, украденную рабу и прямо нарвался на владельца!.. А где их, второго, третьего перекупщиков, ныне найдешь, да и были ли, может, сам похитил из родительского дома, и тоже ведь не пряником обернется, если дознаются...

– Лжу говоришь!.. – прорвало криком купчину. – Твоя, говоришь, так объяви хоть, как звать!

Ратшу-оборотня, человека в городе нового и нравом опасного, ладожане не очень-то любили; но торговец рабами не бывает мил никому: ни своему, ни чужому. Потому-то каждый из стоявших там на берегу не убоился бы подтвердить хоть на суде, каждый почесал бы в затылке и припомнил – была же когда-то у него пригожая девка, ведь вправду была, да у какого гридня их нету!

Впрочем, Ратша постоял за себя сам. Выговорил не моргнув глазом первое, что явилось на ум:

– Красой звать.

Разжал руки, выпуская невольницу, – теперь, мол, как хочешь, – и она сама выбрала свою судьбу: пала наземь, обхватила его колени, прижалась румяной щекой к пыльному кожаному сапогу. И заплакала, закивала растрепанной головой:

– Краса, Краса...

Ограбленный гость так и не побежал плакаться на Ратшу грозным князьям, Рюрику и Вадиму. Доищешься у них суда против своего, тут самому-то последнего не потерять бы! Так и ушёл Ратша с берега и девку с собой увел. Знать, вовсе тошно было ей в неволе, готова была, бедная, хоть в воду, не то что к незнакомому ладожскому гридню... Послушная шла за ним, тихая-тихая... только слёзы знай текли по щекам, падали на желтый песок.

Истинного её имени Ратша так и не удосужился спросить: всё Краса да Краса. Теперь эта Краса жила в крепости вместе с прислугой, нянчила потихоньку маленького Ратшинича. Рождение сына избавило её от неволи, вернуло свободу, да радости-то: сидела ведь одна-одинешенька, что малая пичуга, злой рукой из родного гнезда выкинутая! Ни угла своего, ни матери ласковой, ни отца-защитника, ни братьев с сестрицами, ни мужа милого, ни удалого жениха... Ратша, приголубивший было, к ней совсем теперь не заглядывал: наскучила игрушка...

3

Всеслава разыскала Пелко в крепости, в конюшне: он чистил и охорашивал белого Вихоря, и совсем не было похоже, чтобы он занимался этим из-под палки. Да и конь знай тихонько пофыркивал от удовольствия, изгибая сильную шею, – ловкие пальцы расчесывали длинную гриву, заплетали её в косы.

Заметив Всеславу, Пелко покраснел и отвернулся: вспомнил, что был на неё обижен. Девка, она девка и есть, в который раз сказал он себе. Отца потеряла – а ей и ладно, будет зато теперь Ратшу своего любить. Ещё и радуется небось: никто уж его из-за стола не прогонит, не назовет окаянным, никто из дому пути ему не покажет... И того, глупая, не знает, не ведает, что отец перед смертью о ней думу тяжкую думал, её, неразумную, уберечь хотел от беды! Девке что – лишь бы просватали. А и правду сказать, смешное сватовство было у этих словен! Это ж надо додуматься до такого, чтобы свободную продавать жениху за куны, как вещь! Да ещё, срам выговорить, всего чаще увозили куда-то из материнского дома!.. То ли дело в зеленой чаще лесной, в добрых землях корелов племени ингрикот, на приволь-

ном Устье! Там ведь девушка сама выбирала парня под стать, сама звала приглянувшегося в женихи. И если тот справлялся с делами, что поручала ему строгая невестина мать – вспахать поле-пожог, выстроить надежную лодку, приручить лесного жеребенка – лося, – играл свадьбу и оставался жить, делался мужем, входил в род...

Всяк своим обычаем крепок. Но будь его, Пелко, вольная воля, не так бы он выдавал замуж сестрицу любимую, ягодку-куманичку, девушку высокого лемби, лицом пригожую, в рукоделии искусную и родом знатную вдобавок. И не такого бы жениха ей подыскал. Это уж наверняка!..

Так размышлял Пелко, не глядя на Всеславу, остановившуюся в дверях; она же долго не решалась обратиться к нему, смущенно молчала, переминалась с ноги на ногу, теребила пальцами плетёный поясок. Он спиной чувствовал её неловкость и слышал, как тонко позванивал на пояске бронзовый оберег.

– Пелко... – прошептала она наконец.

Корел обернулся, и теперь уже она покраснела почти до слез, опуская перед ним взгляд. Пелко расправил плечи: если подле Ратши он неизменно чувствовал себя щенком, то тут уж он враз сделался могучим взрослым мужем, пришедшим из лесу ещё и затем, чтобы рассудить её нечистую совесть.

– Пелко... – тихонько повторила Всеслава. – Пелко, вразумил бы ты меня, недогадливаю: почему это батюшка тебе колечко поручил, не иному кому?..

Вот когда вся его обида-неприязнь подалась, как весенний ледок над речной быстриной! Значит, думала-таки о славном отце, не забывала его, не спешила выкинуть из сердца да из памяти вон! Пелко посмотрел на её руки, занятые концом пояска, и увидел, что девчончьи запястья были вдвое тоньше его собственных. А ещё у неё были волосы – не то чтобы кудрявые, но вроде того пуха, что растёт в перьях лебедя у самого тела, согревает гордую птицу в холодной воде... Проведешь по ним ладонью – и ладонь не ощутит. Разве только губы почувствуют или щека...

Пелко погнался от себя непрошенные мысли и сумрачно ответил:

– Отец твой сыном меня звал.

Сказал и сам внутренне сжался, будто в ожидании удара. Вот сейчас поднимет брови и спросит презрительно: тебя? И получится, что он, Пелко, зря ступил на тот весенний ледок, зря доверился её любви к отцу – приблизилась ему эта любовь на пустом месте, точно обманчивый болотный огонек, заманивающий во мрак!

Тут Всеслава впервые отважилась посмотреть ему в лицо. Ростом она была новоявленному братцу до подбородка; подняла голову и увидела, что безобразная опухоль пропала с его скулы, оставив после себя желтоватые пятна, и теперь корел смотрел на неё обоими глазами, а глаза были серые и внимательные, настороженные... Твердо знала Всеслава – он не обманывал. А откуда знала, и сама того не взялась бы объяснить.

– Всё поведай, – велела она чуть слышно. – Как же ты к ним пристал?

– Меня Отсо помял, – сказал Пелко. – Отец твой в лесу нашёл, не дал пропасть. Вот... ушёл бы я из рода совсем.

Он расстегнул пряжку пояса и до ключиц закатал шерстяную рубаху: весь правый бок занимал след чудовищной лапы с когтями, глубоко пробороздившими тело.

– Медведь! – ахнула Всеслава. – Так ты на медведя ходил! Да неужто один отважился?

– Не называй Отсо по имени. – поспешно остановил её Пелко и даже оглянулся на дверь. – Отсо может услышать и прийти туда, где о нём говорят!

– Это не запретное имя, – успокоила его Всеслава. – Тайного имени мы, женщины, и вовсе не знаем, не для чего нам его знать... А медведь – это значит Тот, Кто Мед Любит, Медоед... Да как же ты духу-то набрался?

Пелко только пожал плечами – при чем тут храбрость, нужда в лес погнала!

– Нам, – сказал он ей, – сало понадобилось. Ниэра, моей матери сын старший, в полынью провалился зимой, кашлять стал. А Отсо в лекаря звать поодиночке идут.

Он рассказывал ещё долго. О том, как боярин с чадью своей жил гостем в роду Большой Щуки, в просторном доме, где дружно усаживалось на чистые лавки много женщин-рукодельниц и их охотников-мужей, и как перемешали с медом целебное сало и поили им обоих – Ниэру и Пелко, пораненного жестоко... И как потом Ниэра встал на ноги и снова смог ловить рыбу в реке, а он, Пелко, отпросился у матери и ушёл вместе с боярином, который, тоскуя по рано умершему первенцу, крепко привязался к ижорскому парню, назвал его родным... А потом – с тяжким усилием, с мукой сердечной – о гибели боярина, о словах его заветных про дочь милую, про то, что некому будет теперь за неё постоять...

– Я ему обещал за вас с матерью заступиться, – сказал Пелко сурово. – Я ведь потому отсюда и не бегу. Так что ты... если вдруг что...

Всеслава стояла перед ним, слушала молча. При этих словах вскинула глаза: слёзы дрожали у неё на ресницах. И неожиданно – видел бы Ратша! – обняла оторопевшего Пелко, сомкнув руки на его шее, поцеловала в глубоко запавшую щеку.

– Братик... – прошептала она, силясь удержать закипавший в груди плач. – Братик милый... ты к нам приходи... поешь хоть досыта...

Бросилась к двери и пропала, растаяла в ярком полуденном свете, щедро заливавшем двор крепости. Ей-то ни с кем нельзя было поделиться – ни с матерью больной, ни с подружками болтливими, ни с женихом!

4

А Ратша как раз был во дворе: мерялся воинским умением с молодым гётом – кто кого одолеет на тупых, неопасных мечях. Белозубый гёт выбрал его в противники сам.

– Люди говорят, не ты здесь среди воинов самый неловкий.

Ратша знал, как хвалят немногословные мореходы. Назвали не последним, считай, признали лучшим из всех. Вдвоем с гётом они обмотали тряпками, измазали крошеным углем пару длинных старых мечей: синяк, может, поставишь, но злой раны не нанесешь, а что для воина простой синяк! Уголь же – того ради, чтобы видеть, где коснулся соперника, где подставил ему своё собственное тело. Скинули рубахи, не желая пачкать их зря, и встали друг против друга посреди широкого двора, сравнивая мечи. А потом – заплясали, с силой занося увесистые клинки и когда легко отскакивая из-под ударов, когда останавливая их на середине размаха. А то вдруг, словно в настоящем бою, пропускали чужой меч, получали отметину на груди или плече и тут же сами прыгали вперёд, доставая соперника уже наверняка...

– Не видал я что-то тебя раньше в Эймундовой ватаге, – сказал Ратша неожиданно. – Что, сюда небось с полоном пришёл?

У гёта нелюдимо блеснули зоркие голубые глаза.

– А хотя бы и так, – проговорил он медленно. И добавил с дерзким вызовом: – Вадиконунг был неплохим вождем!

Так они, мореходы, называли князя Вадима.

Ратша промолчал... Молодые отроки и мальчишки-детские собрались вокруг густой шумливой толпой: было ведь тут чему поучиться, было на что посмотреть! Не всякий день сходятся друг с другом такие бойцы, – не зевай, гляди в оба, мотай себе на едва проклюнувшийся ус!

Вот и пусть научаются, и не одному воинскому удалству...

Молодой гёт, видно, ждал срамного слова, поношения себе и своему князю. Не услышал от Ратши – стал коситься на сгрудившихся парней, но те, языкатые, вперёд гридня рта раскрыть не осмелились. И северный воин понял их молчание, просветлел загорелым ску-

ластым лицом, угрюмые глаза потеплели. А противником он оказался что надо: даже Ратше-оборотню, всеми признанному бойцу, по сторонам зевать не давал. Да потом ещё начал приговаривать на своём языке, и так складно, будто не дрался, а на лавке дома сидел:

Посмотрим-ка, кто искусней
рыбой шлемов владеет —
скальд по имени Тьельвар
или гардский ясень доспехов...

Что же, Ратша хорошо знал этот язык, знал, как слагают песни в Северных Странах. Ещё знал: воина-песнотворца всюду ценят повыше двоих бессловесных. Должно быть, гёт немало подивился про себя, когда Ратша ответил ему похожими речами, но только по-словенски:

Тьельвар, песенник, справный гусельщик,
слышу, имечко у тебя достославное:
прозывался так первый из готландцев.
Верно, ты ему не чужая кровь!

– Это ты правильно подметил!.. – засмеялся Тьельвар и проворно отскочил, уберегая колени от коварного удара под щит. – А что такое гусли, словенин?

– Это арфа такая. – проворчал Ратша, ловя его меч. – Я тебе потом покажу.

Но в это время они поменялись местами, и Ратша заметил Всеславу, пробирающуюся за спинами отроков к воротам. Ему показалось, будто она хоронилась, пряталась с глаз, и он окликнул её:

– Эй, Всеславушка! Погоди!

Она обернулась, и он сразу же понял: что-то тут было не так. Что-то произошло. А в следующий миг она съежилась и опрорхнувшись кинулась в ворота – прочь со двора.

Тьельвар легко мог бы достать отвлекшегося Ратшу. Но не поддавался соблазну, опустил меч.

– Погоди. – сказал ему Ратша. – Я сейчас.

Он, конечно, бегал много быстрее всякой девчонки. Но когда он оказался в воротах, Всеславы и след простыл. И вправду спасалась, будто от смерти!

– Вон туда Всеслава твоя потекла, – указал Ратше один из отроков, стороживших с копьями подступ к воротам. – Домой побежала!

Негоже гридню на потеху всей Ладогге бегать без рубахи, ловя девку-невесту. Ничего, он ещё заглянет вечером к ней во двор, выпросит, в чем горе-беда, не обидел ли кто! А буде назовет охальника, так не скроется бессовестный ни зверем в бору, ни рыбкой в быстрой Мутной реке...

Тьельвар терпеливо ждал его, держа в руках оба меча. Ратша подошёл, и гёт подмигнул ему:

– Хвали день к вечеру, деву – после свадьбы, а жену – на погребальном костре...

– Это так. – проворчал Ратша и кинул на руку щит.

Минул день, минул другой. Ратша ничего не дознался от Всеславы. На все расспросы она лишь опускала голову и так жалко молчала, что в конце концов он махнул рукой и перестал её мучить. Знать бы Ратше, что стоял у неё перед глазами израненный отец, умиравший где-то далеко-далеко, под сырым деревом в густом тёмном лесу... и он, Ратша-оборотень, пусть без умысла, но в его смерти всё-таки повинный... И оттого-то не шёл ей в горло

сладкий кусок, не хотелось ни плясать, ни веселиться, ни смотреть на храброго красавца жениха...

Пришлось Ратше довольствоваться тем, что она хоть перестала прятаться от него, и можно было вновь привести её в гридницу на пир и посадить возле себя. Княгине быть с князем, жене гридня сидеть подле мужа, привыкать к дружинному угощению, к шумным товарищам суженого, весело передающим по кругу наполненные рога!

Так случилось, что на том пиру как раз против Ратши оказался ватажник-гёт по имени Хакон; Ратша слышал, как его, несмотря на совсем молодые лета, часто называли искусным воином. А того чаще – задирой.

На невесту, показавшуюся ему серенькой пичужкой, Хакон поглядел разве что мельком, зато Ратшей откровенно любовался. Потом он вдруг громко сказал:

– Не победил тебя Тьельвар, но ты знай, что и мой род не хуже. И уж я-то сумею тебя одолеть, если только ты не побоишься со мной сойтись. И не на тупых мечах, а на острых!

Мало радости выслушивать подобное, но не дело ведь и лаяться на пиру, да ещё с юнцом неразумным, и с гостем к тому же! Ратша сразу ощутил на себе строгий взгляд воеводы – и сдержался, ответил миролюбиво:

– Не кормил бы меня князь Рюрик, если бы я с каждым ратился, у кого меч на поясе есть.

Хакон скривился насмешливо:

– Нет мне дела до твоего Хрёрека конунга, который столь долго не может разбить беспомощного врага. Ведь когда этот Вади конунг, или как там его ещё называют, сидел здесь, в Альдейгьюборге, мы приходили в страну и грабили, где нам нравилось больше. Неудачлив твой вождь, раз он возится с его людьми целое лето и никак их не победит!

Редкий гридень не схватится за меч, когда при нём трогают князя. У Ратши затлели в глазах желтые огоньки.

– Не так слаб был Вадим, как тебе кажется, готландец. И воины у него все один к одному, я-то с ними сражался. Били они вас всегда, если только вы не успевали на лодьях удрать. Затем лишь Рюрика звали сюда, чтобы море вам запереть!

Хакон отмахнулся:

– Хрёрек такой же викинг, как Эймунд или я, вот только родился вендом. Да и люди его, я слышал, всё больше свеи и селундские датчане!

Ратша не торопясь положил пустой рог, расправил плечи... Всеслава смотрела на него со страхом. Да не она одна – теперь уже вся гридница к ним повернулась. Ратша сказал:

– Князь Рюрик в дружину меня принял. Похож я на датчанина?

Хакон вытер ладонь о рубашку, чтобы в случае чего не соскользнула с черена.

– Не похож ты и на человека, которого я мог бы испугаться. Ты ведь, как мне известно, покинул конунга и войско из-за раны, которую я бы и перевязывать не стал!

Всеслава всё-таки ухватила жениха за руку, но он даже не заметил. Начал подниматься из-за стола.

– А повтори-ка, гость, что сказал, да погромче, я тут малость не разобрал...

Хакон засмеялся – ему было весело, да и руки, похоже, чесались. Эх, не миновать бы тут отчаянной сшибки и крови, а всего скорее, и смерти! Но вдоль стола уже стремительно шагал воевода, а по другую сторону, не отставая, поспешал Эймунд, гётский вождь.

Широкая рука Ждана Твердятича легла Ратше на плечо – не вдруг стряхнешь.

– Сядь! Не срами гридницу и князя, да и меня, старого!

Ратша обернулся к нему, глянул в глаза: покориться ли? И кое-кто затаил уже дух, предчувствуя, как Ратша-оборотень, слушавший обыкновенно лишь князя, сцепится ещё и со старым храбрецом... Но Ратша всё-таки покорился.

– Разве что вправду гридницу замарать жаль, – проговорил он угрюмо. И опустился на лавку.

Эймунд что-то говорил Хакону вполголоса, но тот едва его слушал. А потом вовсе перебил старшего, бросив через стол:

– Не хочешь ты сражаться против меня, как следовало бы мужу, но, может, хоть простого боя не побоишься?

Ратша молча покосился на воеводу: уберешь, мол, руку-то с плеча? Или уж давай отвечай сам! Но тут наконец озлился и Ждан Твердятич. Многого прощается гостью, но не всё же! Не поступаются своей и княжеской честью из-за того только, что догадала судьба посадить злоречивого в твоём доме за стол...

– Ладно, ежели так! – тяжело глядя на Хакона, пообещал воевода. – Будет тебе простой бой!

Испытанным храбрецам всегда легче поладить между собою; бессчётные раны и сама жизнь обучают их особому благородству – брататься с бывшим врагом и чтить друг друга, не замахиваясь оружием, не растрачивая мужества и доблести в бесполезной вражде. Юных больше тянет на безрассудное соперничество, на неразумные подвиги, приносящие немедленную славу; недавно надевшим мечи хочется утвердить себя в битвах, им редко есть дело до выстраданной мудрости старших...

Хорошо, когда вождю удастся держать в узде такого задиру, покуда сам не наберется ума. Бывает же всякий раз по-разному, смотря как распорядится судьба.

5

От словоохотливых гридней о поединке прослышала вся Ладога. И на следующий день множество народу стекло на высокий берег Мутной, во двор детинца, в кольцо бревенчатых стен. И хоть Ратшу-оборотня по-прежнему жаловали немногие, ныне, как и тогда, на рабском торгу, будут ладожане одной рукою на его стороне. И те, кто втайне оплакивал удалого Вадима, и принявшие в своё сердце князя-варяга. Всех сразу обидел молодой гёт, и волей-неволей придется Ратше постоять сразу за всех. Уж так оно выходило.

Воевода Ждан Твердятич сидел на низком крылечке, на разостланном ковре. Подле него поместилась же-на-бодричанка, пригожая, в дочки годящаяся сивобородому мужу. А за спиной воеводы, сосредоточенный и гордый, стоял с копьем Святобор, стройный беленький отрок, Всеславе ровесник. Воевода негромко беседовал с Эймундом. У Эймунда седые волосы вились красивыми крупными кольцами, спадали из-под ремешка на широкие плечи. Эймунд глядел невесело: не нравилось ему, что словене уже загодя косо посматривали на гётов, а гёты – на словен... Не затем они остались здесь зимовать, чтобы в самом начале искоренить даже ту шаткую дружбу, которая им здесь доставалась!

Поединщики молча подошли каждый к своему вождю, сложили наземь пояса с мечами, а после и рубашки. Стащили с ног сапоги, с тем чтобы все видели – ни один не припрятал за голенищем ножа... Земля, крепко схваченная ночным заморозком, уколола босые ступни.

Молодые девчонки по сторонам подметенного круга щелкали белыми зубами вкусные лесные орехи, подталкивали друг дружку локотками, обсуждая, кто был красивее – Хакон или Ратша. Умудренные боевым опытом парни сокрушали твердые скорлупки в загорелых жилистых кулаках, угощали девчонок ядрышками и объясняли им, что дело не в красоте. Хотя красота для воина, конечно, тоже не последнее дело.

Ратша стоял неподвижно, хмурился. Всё это лето он провел в броне, в ратном походе, и был белокож. На груди у него багровели два длинных рубца от свейских мечей. Рубцы эти рассказывали знающему взгляду о великом искусстве и мужестве воина: многие учатся

принимать телом безобидный обмотанный клинок, да многие ли на это решаются в смертном бою?

А по левому плечу, глубоко вдавленный в живую белую плоть, бежал стремительный волк. Давний знак, наложенный, ещё когда Ратшу-мальчика принимали к себе в мужской дом мужи его рода. Век не видать оружия тому, кто испугается горячего железа или, того хуже, заплачет от боли! Где жил тот род, Ратша никому не рассказывал. Люди же думали, что знак был неспроста. А не рождались ли в том роду все оборотнями вроде него?..

Хакон с удовольствием разминал руки, красуясь перед пригожими ладожанками. Оно с весны сидел у весла, подставлял себя солнышку. Оно и выкрасило его сильное тело в цвет спелой луковой шелухи. Не было на нём уродливых шрамов – под чистой гладкой кожей перекатывались твердые бугры.

Вот сошлись!.. Приглядываться, разговоры разговаривать не стали: сразу сгребли один другого за плечи и долго стояли так, будто обнявшись, чуть покачиваясь и неспешно разведывая живущую в сопернике силу...

Пелко вытягивал шею, разглядывая боровшихся, и всей душою желал Ратше поражения и срама. Пусть-ка поднатужится молодой гёт и переломает ему все косточки, разорвет жилы, вывернет суставы! И да поможет ему в том суровый Туони-бог, уводящий людей за чёрные реки, в бессолнечные края! Пусть-ка пережмет Хакон Ратше всё нутро, пусть закричит Ратша страшным криком в его цепких руках, пусть польется у него по светлым усам густая смертельная кровь!

Так мечтал мстительный корел, призывая в помощники злобного Лемпо и доброго Тапио, могущественного хозяина лесов, и даже самого небесного Старика, хоть бы уж этот Хакон с острова Вуоя расплатился с Ратшей, раз ему, Пелко, всё никак не было удачи!

Потом он разглядел в толпе Всеславу... Она стояла неподвижно, сомкнув белые пальцы, и, конечно, болела сердцем о женихе. И странное дело – на сей раз Пелко позабыл на неё обидеться за то, что на уме у неё снова был Ратша, а не отец. Поняв, он сам этому удивился, но удивился запоздало, начав уже протискиваться к ней между плотно сгрудившимися людьми. А путь к Всеславе неожиданно оказался опасным и трудным: парни досадливо пихали его, девки щипали в сердцах – вот ведь ещё растопыра, выбрал же времечко перебираться с места на место! Бой без оружия редко затягивается надолго, чуть моргнешь – как раз всё и пропустишь. Сейчас кто-нибудь из двоих поймает соперника одному ему известной уловкой и с маху грянет о землю, утоптанную и подмороженную до твердости дубовой доски! Либо так скрутит его, что тот, не вынеся муки, сам взмолится о пощаде. Или не взмолится – и долго будет носить на больном покалеченном теле повязки и лубки...

Хакон первым начал ломать врага по-настоящему. Поддел Ратшу под колено и с силой рванул, едва не опрокинув его навзничь. Но Ратша был начеку: устоял и так отшвырнул гёта, что тот мало не пропахал головой серую пыль. Пальцы Хакона оставили багровые следы у Ратши на плечах. И оба дышали, как после долгого бега.

Пелко протолкался наконец к Всеславе и встал у неё за спиной, зорко следя, чтобы никто не обидел названую сестру, ни с умыслом, ни случайно.

Хакон между тем вновь ринулся вперёд и, быстрым окунем нырнув под вытянутые навстречу руки, устремил оба кулака Ратше в живот.

Всеслава вскрикнула и ухватила за Пелко, прижалась лицом к его груди – только бы не видеть! Пелко её обнял, стал гладить по голове. Сердце у него то стучало, то останавливалось, и где тут было задуматься, что на его месте мог оказаться кто угодно другой: Всеслава навряд ли и заметила, что рядом с нею стоял именно он...

А кулаки у Хакона были что надо! Наверняка убил бы Ратшу, если бы попал. Но Ратша-оборотень успел увернуться, и Хакон едва оцарапал его вместо удара – снес кожу с ребер на правом боку. А Ратша мгновенно выгнулся и сгреб гёта сзади поперек тела, притиснул

его локти к бокам. Ещё миг – и яростным усилием оторвал врага от земли. А его пальцы встретились у Хакона на груди и соединились там в железный замок.

Тут обмершие ладожане перевели дух, начали разговаривать. Хакон попался в ловушку, но это была ловушка сразу для обоих. Если гёт достаточно крепок и к тому же сумеет не потерять головы, он соберется с силами и разорвет сдавившую петлю, и тогда-то не поздоровится Ратше, у которого, гляди, от натуги уже судорога пошла по лицу...

Хакон извивался придавленным змеем, стремясь то повалить словенина, то выскользнуть из западни. Всё без толку! Ратша стоял как врытый, лишь жилистые пальцы медленно переступали по запястьям. Хакон был в тисках, и тиски эти сжимались.

Позабывшие об орехах девчонки первыми поняли, что гёту не спастись. Они-то видели, как Ратша этими вот пальцами без великой натуги рвал крепкое кручёное серебро. Уже Хакон начал ловить воздух губами, на шее и на руках вздулись синие верёвки жил... Он всё ещё не сдавался. Он и не сдастся.

Воевода Ждан, уперев в колени стиснутые кулаки, смотрел на них во все глаза. Мало кто отваживается в поединке на подобный прием – не дает он легкого верха, самого победителя уведут прочь под руки, еле живого... Ждан Твердятич неплохо знал, что к чему, сам когда-то пробовал подобное и теперь всё оглядывался на Святобора – пристально ли следит?

...А в том, что победа будет за словенином, не сомневался больше никто. Ратша-оборотень вправду как волк: сомкнёт челюсти на добыче и не разомкнёт их, пока в нём самом будет гореть упрямая жизнь. Этому хватит силы для расправы над гётом, хватит и душевного зла. Тихо переговаривавшиеся гридни не помнили случая, чтобы он помиловал кого-то в бою. Не было такого ещё!

Эймунд хёвдинг опустил белую голову, стал глядеть себе под ноги. Ждан Твердятич скопил на него глаза и нахмурился. Чего уж тут не понять! Жаль гибнущего, а тем более своего. Жаль, что Хаконова скамья на лодье окажется пустой в морском бою или в шторм, когда понадобится грести против ветра и волны... Можно было, конечно, попробовать предложить Ратше выкуп, но уж этого не позабудет спасителю сам Хакон, даже если Ратша вдруг вправду надумает отпустить его за серебро!

Хакон не стал вымалывать себе жизнь. Хотя и приходилось ему – хуже не выдумаешь: сознание гасло, он корчился, задыхаясь, не в силах даже достать ногами земли. Тиски сжимались всё крепче, ещё немного – и лежать ему на земле мертвому, с раздавленной грудью, с переломанными костями...

У Ратши у самого темнело в глазах, напряжение слепило его, но вдруг он неожиданно ясно разглядел Все-славу, стоявшую, оказывается, прямо против него. Подле торчал парнишка-корел и, похоже, самоотверженно оберегал её в толкотне. Она же смотрела на Ратшу круглыми от ужаса глазами, прижимая ладони к заолодевшим щекам, и, может статься, впервые видела суженого таким, каким ненавидел его Пелко, таким, каким он в действительности и был, – Ратшей-оборотнем, жалости не знающим... Не тем смешливым, гораздым на весёлые выдумки женихом, которому она тайком от матери вышивала свадебную рубаху!

И вот тогда-тостряслось дотолеслышанное, невиданное. Ратша внезапно разжал совсем было сросшиеся руки, и полузадушенный Хакон свалился к его ногам. Жестокая боль, иглой пронизавшая легкие, тотчас скрутила гёта в комок, он судорожно вобрал в себя воздух, и из носу пошла кровь. Шатающийся победитель грозно обежал взором смолкшую от изумления толпу: ну-ка, пусть тот, кто думает, будто ему, Ратше, не достало решимости или силы, произнесет это громко! Но безмолвие длилось, и он повернулся к застланному ковром крылечку, к двоим вождям.

– Пусть живет храбрый Хакон!.. – сипло выговорил он на северном языке. – Твой человек, Эймунд хёвдинг, молод и смел, и незачем ему тут умирать!

Вот уж удивил так удивил всякое видевших ладожан! Стояли ведь и стояли молчком, не знали, что подумать-сказать, слова достойного выговорить не могли... Гёты, хуже знавшие Ратшу, опамятовались первыми. В двадцать рук подхватили тяжело хрипевшего Хакона и бегом потащили вниз, к берегу Мутной, – отлить, покуда не поздно, из кожаных шапок холодной осенней водой...

Тут Всеславе проскользнуть бы меж гриднями, обступившими победителя-жениха, расцеловать любимое, враз осунувшееся лицо, своим гребешком расчесать мокрые слипшиеся волосы, об руку пройти с ним до резной двери дружинной избы! Какое там! Отвернулась от них от всех и пошла как незрячая за ворота детинца, со двора долой. Пелко увидел, поспешно двинулся следом: мало ли вдруг что с милой названной сестрой.

Они одновременно заметили юную женщину, стоявшую в сторонке, у серой бревенчатой стены. Была она хороша собою и одета вовсе не бедно: на голове – шелковая кика, на ногах – ладные кожаные башмачки, на плечах – теплый плащ мягкого привозного сукна. И кольца у висков – посеребренные, витые, с узором.

Только смотрела она отчего-то вовсе не весело, так, будто сдерживала долгую тоску, носила её в себе, не давала вырваться слезами.

Пелко неоткуда было ведать имя пригожей, зато Все-слава узнала её немедленно – Краса! Та, чьей злой судьбой пугала дочку сердобольная боярыня-мать.

Вот и посмотрели они друг дружке в глаза: счастливая невеста Всеслава и прискучившая рабыня, вольноотпущенница, вызволенная рождением сына... Пелко и тот смекнул, что были они, встретившиеся, не совсем вроде чужими. Увидел, как задрожали губы у Всеславы: что сотворит дочь боярская, гордая? Замахнётся, прогонит, узвит неласковым словом? Все-слава шагнула вдруг вперёд – и обняла отшатнувшуюся было, испуганную Красу, и та прильнула к ней, отвечая на ласку, а потом заморгала часто и уткнулась лицом Всеславе в плечо. Была, видно, для неё боярская дочь не соперницей, а такой же, как сама она, несчастливой девчонкой, которую душа рвалась пожалеть.

6

...Станешь много слушать старых людей и призадуматься: не запоздал ли появиться на свет. И все-то было раньше иначе, не так, как теперь, и всегда лучше нынешнего. И светлые весны удавались дружнее, и дичь в бору рыскала гуще, и дела молодецкие, удалые, теперешним не чета, сами в песню просились.

Ведь было же, что все мужи рода селились своим особенным очагом. И молодые ребята-паробки взрастали не в ласке и жалостливости женской, а в суровости воинской, которая только и отвечает сути мужчины!

Кое-где в глухих углах это, как сказывали, ещё держалось. В Ладоге же – не то, дедам посрамление, внукам беспутным укоризна. Теперь и женский дом женским лишь назывался, а от мужского единственное, что осталось, – дружинная изба. А и жила-то в ней одна только молодежь холостая, своего угла не заведшая...

В эту дружинную избу Тъельвар пришёл к Ратше несколько дней спустя, когда ладожане не устали ещё толковать о поединке.

Вечер был непогожий. Ратша сидел у огня в безрукавке, брошенной на голые плечи. Безрукавка была волчьего меха. Ратша смазывал головки стрел, узкие, трёхгранные, назначенные прошивать крепкие кольчуги, вклиниваться между пластинками броней. Пяточки подобных стрел всегда красят красным, и нету от них никакого спасения в бою. Особенно если лучник хоть чем-нибудь похож на Ратшу... Рядом с воином сидел Святобор, помогал чем умел, смотрел ему в руки. Ратша его не гнал, знать, не жаден был до своих воинских

ухваток, передавал науку. Тьельвар поздоровался с ними, сел и вытянул ноги к огню, не торопясь выкладывать, с чем пришёл.

Когда он входил, отрок о чем-то рассказывал Ратше вполголоса; при виде Тьельвара он тут же умолк из уважения к старшему. Но Тьельвар не стал затевать разговора, и Святобор продолжал:

– Однажды мы подходили туда на снелке как раз перед рассветом... Ты знаешь, там такие белые скалы, и они лежали в небе, как облако, и светились. Вольгаст ещё посмотрел и сказал, что такова, наверное, сама Гора Света, на которой сидят Боги...

– Химинбьёрг, – проговорил Тьельвар. – В наших небесах тоже есть Небесные Горы. И я слышал, что оттуда поистине далеко видно. О чем это ты рассказываешь, ярлов сын?

Святобор даже покраснел, польщенный вниманием, и ответил:

– Об Арконе.

Он, конечно, хоть до утра мог бы рассказывать о своей варяжской святыне, где когда-то поцеловал землю сам Бог Святовит. Да и язык у парня подвешен был неплохо, не заскучаешь, слушая такого. Нынче, правда, Тьельвар совсем другое держал на уме, но не годилось это показывать, да и какой скальд откажется послушать складные речи? По чести молвить, он даже благодарен был Святобору за нечаянную помеху: дело-то предстояло уж очень нелегкое.

Впрочем, Святобор всё же что-то почувствовал и вскоре умолк.

– Ты гусли мне обещал показать, – напомнил Ратше молодой гёт. Ратша убрал в колчан последнюю стрелу и поднял глаза на Святобора:

– Принеси гусли.

Отрок бегом сорвался с места, гордясь, что именитый воин удостоил его просьбы. Взяв гусли, Ратша поставил звонкую кленовую доску на левое колено, вдел пальцы в отверстие при верхнем конце, тронул струны. Он управлялся с мечом охотнее, чем с гуслиями, не починая гудьбу за своё дело; но, как почти всякий гридень, мог при случае похвалить песней славное дело, припомнить павшего друга... Тьельвар имел уже случай в том убедиться.

Расходились волны на море великом,
выбегали кораблики на синее море,
кораблики ладные, стройные
из того ли города Ладоги...

Тьельвар слушал молча. Ратша покосился на него несколько раз, потом снял гусли с колена.

– А не в песнях ты мыслями, готландский гость. Тьельвар подпер кулаком подбородок и кивнул на колчан, висевший на деревянном гвозде:

– Не хотелось бы мне оказаться под этими стрелами, словенин.

Ратша отдал гусли Святобору и ответил, усмехнувшись:

– Так ведь и не с чего бы вроде.

– Это верно, – сказал Тьельвар, – Но не всем людям хочется одного и того же, как ты, наверное, знаешь.

Ратша тяжело молчал некоторое время, и Тьельвар не знал, чего ждать.

– Вот, значит, как, – нехотя выговорил воин, – Иди себе, Святобор.

Святобор пристыженно поднялся: мог бы и сам уйти, поняв, что эти речи велись не для него.

– А теперь рассказывай, – велел Ратша, – Всё рассказывай.

– Ты, наверное, видел рядом с Законом человека по имени Авайр, – начал Тьельвар негромко. – Так вот, у Авайра есть брат. Этот брат много раз ходил грабить в здешние места

и всегда возвращался с добычей. А потом случилась та битва с Хрёреком конунгом, которую не скоро позабудут у нас в Северных Странах. Брат Авайра приехал домой без ноги и рассказывал про гард-ского воина, очень похожего на тебя.

– Может быть, – проворчал Ратша, – Я всех не помню. У Хакона я тоже кого-нибудь изрубил?

– У Хакона, – сказал Тьельвар, – вся родня погибла дома, в Павикене, когда вендские викинги устроили туда набег. Хакон вернулся из Бирки, где он тогда был, и ему рассказали, что его отец и братья пали в бою, а мать и сестру увезли неведомо куда. Вот он и поклялся, что не даст вендам житья, пока они его не убьют.

– Твоего Хакона я раз уже поучил и не очень-то его боюсь, – сказал Ратша угрюмо. – А не то я, пожалуй, напомнил бы тебе, что я не варяг. Жаль, не был я в Павикене и не видел там его сестру. Я уж позаботился бы, чтобы у Хакона была причина мне мстить!

Тьельвар, казалось, предвидел эти слова.

– Ты вправду не венд, но ты ходишь на их корабле и ешь с ними хлеб. И ты неплохо дерешься, а для мести выбирают не худшего в роду. У Хакона есть славный меч, и он говорит, будто выкопал его из древней могилы, отняв у курганного духа.

Ратша положил ногу на ногу.

– Так ведь и я свой не под забором нашёл...

Он хорошо понимал, зачем это Тьельвар пришёл сюда к нему и завел разговор. Хотелось гётам мирно пересидеть в Ладоге зиму и уйти по весне с добрыми товарами в трюме и серебром в кошельях. А вовсе не со стрелами в спинах.

– Я не буду дразнить Хакона сестрой-рабыней, – пообещал он примолкшему Тьельвару, – Но и Хакон меня пусть лучше не трогает.

Всеслава увидела Хакона возле своего дома: она несла на коромысле два деревянных ведерка, и прозрачные капли падали в жёсткую придорожную траву.

– Здравствуй, ярлова дочь, – сказал ей Хакон.

– И ты здравствуй, гость готландский, – отозвалась она. Хотела его обойти, но Хакон загородил ей дорогу, встал на пути. Всеслава помимо собственной воли покраснела, беспомощно опустила голову, остановилась. Она помнила, как он задыхался у Ратши в руках, и ей вовсе не хотелось с ним говорить.

– Люди передают, – сказал Хакон, улыбаясь, – будто бы твой жених оставил мне жизнь для того только, чтобы тебе угодить. Это всё выдумки или правда?

Ему скверно давалась трудная словенская речь. Всеслава покраснела пуще и смолчала, а Хакон продолжал:

– Может быть, я тебе понравился? Выходи замуж не за Ратшу, а за меня.

Чем могла закончиться эта встреча, неизвестно; всего скорее, Хакон того только и ждал, чтобы она бросила коромысло с ведерками и побежала плакаться жениху. Но Ратша неожиданно появился подле них сам. Подъехал на белом Вихоре, и Тьельвар рысью скакал следом за другом, неся на кулаке злую ловчую птицу. Серый пес, похожий на волка, бежал у его стремени. А позади всех трусил на смирной лошадке Пелко-ижор, и жирные осенние гуси мотали вялыми шеями по крупу его рыжей кобылы, связанные ремешком за перепончатые лапки.

Ратша спокойно поздоровался с Хаконем, посмотрел на Всеславу и спешился. Отобрал у невесты оба ведра: – Пойдём-ка...

И широко зашагал к боярскому двору, не оглядываясь на гётов. Всеслава пошла за ним следом покорная, с малиновыми щеками. Опять она в чем-то была безо всякой вины виновата, и одинокая тоска неслышно плакала в ней, и казалось – вот-вот разразится, грозой грянет непоправимая беда.

Белый Вихорь важно выступал рядом, фыркая, клал голову хозяину на плечо...

7

Удивительное это место и нехорошее – поляна в глухом лесу или крутой обрыв над берегом реки, где спят в земле давно умершие люди! Совсем незачем соваться туда без дела, особенно же к вечеру, когда солнце торопится с небес. И ведь сам знаешь, что не сотворил никому из ушедших в Туонелу даже мысленного зла, а страшно всё равно. Ну как раскроется насыпанный прадедами курган, выпустит в ночные потемки невесть когда сгинувших мужей!.. Или просочится сквозь землю бестелесное зло, всегда могущественное во мраке, опутает, околдует...

Не зря, наверное, люди, искренне чтя умершего родича, всё-таки торопливо уносят из дому его тело, и не просто через порог – разбирают угол стены и пятятся в пролом, с тем умыслом, чтобы душа не сыскала пути назад!

Да и избушку мертвому ставят не у себя во дворе, а подальше в лесу. И туда уже ходят поклониться умершему родителю пивом и едой, испросить удачи при сватовстве и счастья охотничьего...

Стоял ясный день, но Пелко крался между курганами, будто на ловле, и сам себя корил за погибельное любопытство. Богов он поблизости не обнаружил: не пожелал показаться ему Перун-громовик – вот и потянуло с досады на само буевище, не зря же, мол, из Ладоги сюда шагал. А обступили курганы, и повеяло жутью, и будто перестало хватать вольного воздуха, и даже весёлый солнечный свет показался не таким ярким, как повсюду вокруг... Может, оказывается, и безветренный полдень таить в себе ничуть не меньше, чем самая чёрная ночь. А всё потому, что лежали здесь погребенными женщины и мужчины, сошедшиеся незнамо отколе и здесь, в Ладоге, шагнувшие через последний порог...

Но вот вдруг будто показалось знакомое с детства лицо: проглянул в кустах маленький домик из тех, что ставят над сожжёнными костями корелы и меряне. В таком домике-крошке всё совсем как в мире живых: есть бревенчатые стены, есть берестяная кровля и дверь, плотно притворенная от снега и дождя. Есть лавка и стол, чтобы душа предка, залетевшая погостить, не осталась бесприютной и не обиделась. Есть даже прорезанное окошечко – пусть поглядит добрая душа, как живут-могут оставшиеся на зеленой земле, пусть порадуется детям и внукам, их молодости и счастьем...

Пелко долго не мог заставить себя отойти, всё гадал, кем он мог быть, этот неведомый корел. Воителем, привязавшим свою судьбу к судьбе ладожского князя, беднягой охотником вроде самого Пелко или белобородым стариком, умершим счастливо и спокойно на руках сыновей?

А когда наконец ижор двинулся дальше, ему всё казалось, что в спину глядели, обещая защиту и помощь, родные глаза.

Вот встала над обрывом могила гостя из Северных Стран, вся обложенная плоскими камнями и сама похожая на длинный корабль. Этому народу испокон веку немало приходило в ладожские края. Откуда знать – может, сам князь Рюрик свалил его в яростной битве, а после, уважая храброго врага, позволил товарищам павшего предать тело земле? Или, наоборот, пришёл человек тот с миром, построил себе кузницу и много лет ковал в ней всем добрым людям на радость, продавал воинам боевые ножи и наконечники для стрел, а пригожим девчонкам – блестящие и звонкие пустотелые бусы? Не у кого спросить!

А чуть дальше поднялся курган морехода-варяга, совсем недавний, ещё толком не высохший, в земле по бокам его – угли и зола. Какой-нибудь отчаянно дерзкий грабитель, что вздумает разрыть этот курган и поживиться закопанным серебром, наткнется в глубине

на обугленный борт ладьи, прикрывший доверенное земле. И неуступчивый вагрский дуб, выросший на солёных ветрах и до железной крепости закаленный морской водой и огнем, надолго задержит лопату могильного вора, если не остановит её совсем. Он, корабль, верно пронесивший холодными просторами своего хозяина-храбреца, он, взошедший с ним на погребальный костёр и мчавший его теперь призрачным морем, в лучах нездешней звезды – он ли не отстоит славного праха от поругания и от жадности людской!

...Но одна могила высилась в отдалении перед глазами неторопливо шедшего Пелко, как княжеский стол в гриднице посреди дружинных скамей. Этому кургану здесь не было ровни, и корел поневоле задумался о князе Вадиме, за которого пролил кровь бесстрашный боярин и за которого, ни разу даже издали не видав, сражался и он, Пелко, в своей единственной битве. Задумался и решил: не застав героя живого, приди хотя бы поклониться его костям. Тоже дело достойное – заснешь ночью и повстречаешь его будто въяве, и он выслушает тебя и рассудит, подаст мудрый совет, какого всегда ждут от вождя...

Пелко достиг кургана и стал обходить его кругом, отыскивая какие-нибудь меты, способные рассказать ему об истинном достоинстве лежавшего внутри. Он знал только, что погребенный был мужчиной и воином. Не зря, наверное, выложили весь его холм понизу камнями, будто Перуну, грома хозяину, требу принесли... И вдруг корел остановился: услышал голос и увидел девушку, сидевшую рядом с курганом на голой земле.

Первое, что пронеслось в уме замершего Пелко, – княжеская жена!.. Потом припомнил: нет, не осталось у Вадима княгини. Да и одета была сидевшая совсем не так, как одеваются жены вождей. Ни переливчатых бус, ни расшитой жемчугом кики, ни узорных серебряных обручей. А не дал бы Рюрик обидеть знатную, не позволил сорвать с неё подаренного супругом! Не разрешил ведь ограбить ни одного двора из тех, чьи хозяева с Вадимом от Ладоги отбежали...

Пелко подождал ещё некоторое время и понял, что встретил невольницу.

Она показалась ему совсем некрасивой, чуть ли не уродливой: нежное лицо покраснело и опухло от слез, заплаканные глаза едва раскрывались – какая уж тут красота! Девушка прижималась щекой к холодному плечу кургана и гладила земляные комья ладонями, ласкала их, словно живое и любимое тело.

– Что же ты, батюшка князь Вадим, не меня избрал себе в смертные жены!.. – выговаривала она кому-то невидимому. – Уж теперь привстала бы я, мертвая, уж перетащила бы свои косточки-то к ладушке поближе, на грудь пала к любимому, обняла шею его белую, уста медовые расцеловала! Веки вечные с Гостятушкой не расставалась бы, не разлучили бы нас ни люди жестокие, ни Род великий и трижды светлый, ни ты, господине, батюшка князь...

Пелко достаточно хорошо понимал по-словенски, да и говорила она небыстро – уразумел, в чем суть. И подался назад, холодея от тошнотворного ужаса. Ясней ясного увидел он князя Вадима, уложенного на высокий, нарядно застланный помост; и пустое место подле него на этом последнем княжеском ложе; вот кладут на пушистый ковер юную девушку, заносят над нею блестящий жертвенный нож!.. А у ног князя стоят в ожидании смерти связанные рабы, и среди них – молодой, пригожий, могучий телом Гостята. Его-то можно было бы и не вязать: он не отшатнется, не оскорбит княжеских похорон трусостью, недостойной мужчины... Не о том, поди, мечтал, бедняга, ещё накануне, думал небось обнять молодую жену, а там, дай срок, и первенца на руки взять! Ему судьба умереть прежде всех других – сам встал впереди, будто плечом заслоняя обреченных друзей. А смотрит храбрый парень не на старуху с ножом: требовательно и сурово глядит он поверх всех голов, туда, где плачет в отчаянии, спрятавшись за деревьями, его ненаглядная любовь...

Пелко ощутил, как по бокам и между лопатками покатались полновесные горошины пота. Великая честь – служить в словенской Туонеле прославленному вождю, но тление

омерзительно для живого, могила страшит. А навряд ли иначе поступили бы и с ним, пленником-слугою, услышь только добрые Боги его горячую молитву о гибели Ратши от рук Хакона в бою!.. Собрались бы немногословные гридни, да повязали его, лопоухого, крепкой конопляной верёвкой, да свели сюда, на это кладбище-калмисто, да утвердили подле Ратши на смоляных бревнах, готовых запылать жарким огнем...

Тут Пелко повернулся на месте и со всех ног кинулся наутек. Девушка так и не заметила его, так и не узнала, что не один прах в земле её слушал... Пелко, привычный к лесным закоулкам, не размышляя, мчался назад по собственным следам. Одним прыжком перелетел могилу-корабль – сердце в груди металось, как зайчонок, накрытый тенью ястребиных крыл. Прочь от страшного кургана, из Ладоги прочь, что есть духу домой, в родные леса и на добрые ягодные болота, на Невское Устье!..

– Эй, малый, постой-ка... – окликнули его.

У погребения-домика стоял русобородый мужчина, корел и по одежде, и по речам. Пелко остановился, тяжело переводя дух. Стыд и срам – он дрожал всем телом, как затравленный олень, коленки подламывались...

– Лемпо за тобой гнался никак? – с незлой насмешкою спросил незнакомец и заключил: – Ты ведь Пелко из рода Большой Щуки, которого Ратша привел. Где нынче живешь-то?

Пелко помолчал, трудно дыша. Ему понемногу делалось стыдно перед этим уверенным мужем, которого словно бы послал на выручку уваженный им, Пелко, прародительский дух. Вот поди теперь докажи ему, что не трус, что злобный Отсо, располосовавший когтями грудь, не гонялся за ним для этого по чащобам и широким полянам... И то – пригляделся получше, и не столь уж чужим показался ему этот корел. Пелко узнал его: ведь тот самый, что ещё пытался отбить его у Ратши, защитить, с собою увести...

– В линнавуори живу, – ответил он наконец. – В конюшне. За Вихорем для Ратши хожу.

Мужчина кивнул, почесывая пальцем в бороде; на пальце том обнаружился дорогой зелёный камешек, вправленный в плотное серебро. Камешек играл, и Пелко вдруг подумал о том, как, должно быть, мешал этот выпуклый перстень вязать уловистые сети, вытесывать досочки для быстрой лодки, натягивать тетиву...

– Зовут меня Ахти из онежских Гусей, с чудью здесь торгую, – сказал ему мужчина. – А что ты, щуренок, домой отсюда не бежишь? Боишься, Ратша погонится?

Ну, этого-то Пелко как раз боялся меньше всего. Не станет Ратша ловить беглого пленника, не будет выслеживать его в золотой Метсоле и по берегам звонких ручьев: не хозяин он ему, а Пелко не раб, не взвешивали за него на торгу светлого серебра, а за поцарапанную руку, уж верно, он Ратше давным-давно отплатил. На радостях от встречи со своим Пелко едва не рассказал Ахти Гусю всё как оно было, однако вовремя остановился. Научился уже неправде людской и тому, что бывает человек человеку злее зверя лесного. И удержал болтливый язык, пристегнул его ниточкой к уху. Ответил коротко:

– Дела одного не довершил. Ахти поглядел на него испытующе:

– Ратше отомстить задумал никак? Смотри, парень, пропадешь...

Не умея врать, Пелко смолчал. Ахти сказал ему:

– Негоже бросать своего. Пойдём, если хочешь, у меня теперь поживешь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

*Наберешься ли отваги
опрокинуть кружку пива,
осушить вот эту чашу?*

Калевала

Озеро казалось не особенно широким – если как следует растянуть тетиву, стрела перелетит его без большого труда. Но зато вдоль берега можно было грести целый день хоть в одну сторону, хоть в другую, и оно не кончалось. В бесчисленных протоках угадывалось даже течение – водяная трава, колебавшаяся в прозрачной глубине, вытягивалась бородами.

Огонь не сумеет перемахнуть через озеро, и даже ветер, не в шутку разошедшийся, не сможет его перенести. Огонь будет зло топтаться на том берегу, гудя и швыряясь шипящими головешками, – ни дать ни взять разбойная дружина, увидевшая в деревне не одних только испуганных женщин, но и мужей-охотников с полными колчанами стрел!

А потом пламя догрызет последнее дерево и угаснет само собой. Прибегут тучи, и дождь прольется в золу. Остынет пожарище, и ветер нанесет туда семена деревьев и трав...

Легкая кожаная лодка подрагивала на мелких волнах. Здесь, у дальнего берега, охотнику незачем было бояться огня, и он сидел неподвижно, глядя, как в потемках от тучи чёрного дыма, совсем спрятавшей солнце, плыло через озеро спасавшееся зверье: могучие лоси, свирепые кабаны и рыжие белки, которых одну за другой губили в воде пушистые шубки. Несколько мокрых зверьков в отчаянии вскарабкались по веслу и теперь жались все вместе на гнущем можжевелевом борту, не боясь человеческой руки. Охотник не гнал белок и не пытался поймать. Грех великий – обидеть попросившего помощи! Осерчает лесная хозяйка Миэликки и выйдет к горе-добытчику в страшном, изорванном платье, в стоптанных берестяных лаптях, не укажет звериного следа, не позволит принести домой из чащи ни мяса, ни ягод, ни пушистых мехов... Поселился в лесу – чти Правду лесную!

Зверей в воде делалось меньше: к берегу уже вплотную придвигался огонь. Спасшиеся выбирались на безопасную сторону, скользя впопыхах по отлогому граниту, и со всех ног удирали в лес. Не видать больше охотнику своего заботливо сложенного шалаша и припасов. Разнесут на бегу, втопчут лапами и копытами в податливый лесной мох!

Немного погодя над зелёными вершинами сосен взвились языки яркого пламени и озеро сделалось багровым. Охотник невольно стиснул весло: показалось, будто на обреченных деревьях каждая хвоинка поднялась от ужаса дыбом...

Вот у того берега по всей его длине, сколько хватало глаз, одновременно вспыхнули тростники. И почти сразу какой-то дымящийся ком пролетел сквозь клубившуюся стену и тяжело обрушился в воду. До слуха охотника донесся не то вскрик, не то вой, и он понял – это вырвался из огня последний живой зверь.

Потом над взбаламученной поверхностью показалась голова и зверь поплыл: широкий лоб, стоячие уши – волк! Серый воин из тех, с кем, случалось, охотник насмерть бился в студеных зимних снегах... Теперь, конечно, матерому было вовсе не до того, но сидевший в лодке не удержался и погладил пальцами длинную острогу, всегда лежавшую под рукой. Повстречав Хвостатого, держи ухо востро. Этот не пощадит.

Проскулив, волк словно бы устыдился и не издавал более ни звука, однако плыл всё медленнее, явно слабея. Охотник пригляделся: такого, пожалуй, незачем особенно бояться. Он не сможет не то что напасть, но, пожалуй, даже и выползти на сушу.

Охотник долго следил за тем, как исчезала и вновь появлялась над водой упрямая мокрая голова. Волк погибал достойно, это не заяц-трусишка, готовый кинуться в руки охотнику, чтобы только спастись от собаки... Добро же – станет в лесу меньше одним клыкастым зверюгой, а то и целой стаей, лишившейся вожака. Никто не поведет её на охоту, никто не соберет разбредшихся по заметным оврагам, а самая красивая и быstroногая волчица так и останется по весне без щенков...

Белый пепел садился на воду, над озером тяжёлым облаком стлался удушливый чад. Молодой охотник уже плохо видел тонувшего зверя, но раз за разом находил его взглядом, и почему-то им всё больше овладевало странное чувство, похожее на стыд. Уж скорее бы, что ли, сомкнулось и успокоилось над волком равнодушное озеро, сгинул бы и перестал мозолить глаза, перестал требовать чего-то своим обреченным мрачным упорством, не заставлял больше ерзать в удобной, безопасной кожаной лодке!

Он даже развернул своё суденышко, чтобы не смотреть. Но потом всё-таки не выдержал, оглянулся. Остроухая голова в который раз всплывала там, вдалеке, но так медленно, что можно было не сомневаться – это уже конец.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.